

В поисках прошлогодного снега (сборник)

Автор:

Светлана Мосова

В поисках прошлогодного снега (сборник)

Светлана Мосова

Живая проза. Произведения современных российских писателей

Когда от одной женщины ушёл муж (огретый любовью к другой женщине), она взяла детей, три корзины и поехала в лес. И там собирала чернику – собирала, собирала. Без остановки.

А потом варила варенье. Варила, варила. День и ночь. Не имея мочи остановиться.

...С тех пор кошмар человеческого страдания мне видится именно таким: море ягод, и женщина варит варенье...

Через четыре дня муж вернулся. И варенье сгодилось.

И они его ели, ели, ели...

Светлана Витальевна Мосова

В поисках прошлогодного снега

© Мосова С., текст, 2018

© Обух А., иллюстрации, 2018

* * *

Василеостровские мечтатели

Васильевский остров стоит на трех китах – это и дураку видно. И стынет он, мокрый и плоский, причаленный к Набережным, – мосты, как швартовы, держат его, а так бы уплыл, конечно! – на всех парусах, на трех китах, на семи ветрах, увозя на себе мечтателей... Веру Петровну, Егора, Симона...

Красивое имя – Симон. Есть, есть в нем что-то такое... французское, изящное, неутоленное (для переводчицы с французского, в частности). В общем, с личностью Греты, бабушки Симона, принципиально не желавшей слышать ни о каком «Семене», все было ясно.

А уши Грете, кстати сказать, были вообще не нужны: она никогда ими не пользовалась, вечно глухая к чужим мнениям и доводам рассудка, и когда она оглохла окончательно (а, как известно из учения Павлова, неработающий орган со временем атрофируется), этого никто даже не заметил.

А Симону шло его имя. Он и был похож на француза, причем очень знаменитого француза. На Оноре. Оноре де. Да-да, именно. И Симон не возражал.

Человек, как известно, состоит из прозаических вещей – костей там, жил, кишок и прочего безобразия, украшает все это оболочка или остроумные мозги.

Симона украшали мозги. Потому что оболочка плохо скрывала его внутренности: живот выпирал, жилы выступали, суставы скрипели. Но мозги были хорошие. Вообще голова была хорошая, обремененная бальзаковской прической и честными, хорошими мыслями.

Симон долго ждал, что кто-то придет и погубит его жизнь. Но никто не являлся, и Симон был одинок. Нет, были, конечно, романы, да и по потолкам старой квартиры витали дореволюционные амурсы, но ни один из них всерьез не ранил Симона. Так, царапины.

Был Симон человеком книжным, работал в архиве, общался с книгами и волеленен с соседями по коммунальной квартире. Но читать было интересней, чем жить. Потому что книга – это квинтэссенция жизни, там все уже есть: «чем меньше женщину мы любим...», «а вечно любить невозможно» – коротко и изящно. А жизнь бледна и невыразительна. Или же наоборот: слишком выразительна.

В общем, мир существовал для Симона в цитатах и представлениях. Например, Париж...

– А что Париж? – с тоской говорил на кухне сосед-художник. – Стою я, значит, в Париже, денег нет, гляжу: жареные каштаны продаются. Ну, поскреб по карманам. Купил. И вот стою я на Монмартре – один! под дождем! – ем эти жареные каштаны...

Имелось в виду, что Симон посочувствует. Но Симон реагировал неадекватно.

– Вкусные? – спрашивал Симон.

– Что?

– Каштаны.

– Да как тебе сказать, – ответил художник, и так и не сказал. Осталась тайна.

С тех пор Париж представлялся именно так: дождь, одиночество – и Симон стоит на каком-нибудь самом монмартровском месте и ест жареные каштаны. Хорошо!..

Симон даже купил как-то на базаре эти самые каштаны (ну, не эти, конечно, а другие). Купил не сразу, сначала долго разглядывал их, ходил кругами, потом приценился, спросил: откуда?

– Из Крыма, – был ответ.

Из Крыма – тоже хорошо, Симон никогда не был в Крыму. В общем, купил полкило. Пришел домой, засунул в духовку, стал ждать. Дождь выстрелов – вздрогнул, снова вздрогнул, испугался, не понял, снова не понял, а тут еще выскочила из комнаты соседка, вдова офицера, и заверещала дурным голосом: стреляют, Симон, стреляют!..

Вера Петровна носила прическу мечтательной Гретхен и владела огромным носом – носом наперевес. К такому носу в набор полагались огромные глаза и огромный лоб. Но природа распорядилась иначе, выдав Вере Петровне к большому носу маленький лобик и маленькие глазки. Вера Петровна тоже много читала. Буквально не выпускала книгу из рук. И не какую-нибудь, а хорошую – Булгаков там, Достоевский и даже Набоков. Но сколько ни читала Вера Петровна хороших книг и толстых журналов, она ни чуточки не умнела, вот беда.

Вера Петровна имела слабость величать себя вдовой офицера, и непосвященные должны были под этим подразумевать, что муж ее, офицер, пал в неравном бою, защищая Родину.

Но это было не совсем так. Точнее, совсем не так.

Лет двадцать назад ее муж-офицер, вернувшись в неурочный час домой, застал Веру Петровну среди бела дня в постели, причем с другим офицером, и, не совладав с собой, застрелился. Именно так, и не иначе, Вера Петровна стала вдовой офицера. Но это были подробности, которые все портили, и Вера Петровна не считала нужным в них вдаваться.

Симон угостил Веру Петровну отстрелявшимися в духовке каштанами, и Вера Петровна, угостившись, сказала:

– Как вареная перемороженная картошка.

Называется, наплевала на солнце и погасила.

Каштаны действительно были сладковатыми на вкус, как если бы в кастрюлю с вареной картошкой Симон сдуру сыпанул вместо соли сахару. Не хватало для остроты вкуса, конечно, одиночества, дождя и Парижа, но ничего.

Значит, о Париже Симон имел представление. Так же обстояло дело с Амстердамом и старинным городом Бельгии Брюгге.

– Брюгге, – рассказывал художник, – это сплошной музей, в котором почему-то живут люди. Такое ощущение, что их специально, на время твоей экскурсии, привезли и расселили по домам – исключительно для твоего удовольствия.

Такое внимание властей города к персоне соседа было Симону приятно.

– А Амстердам?

– Амстердам мне понравился: каналы, мосты...

– Как у нас, – одобрял Симон.

– Как у нас, – соглашался сосед. – Но там не видно изнанки, понимаешь?

Симон понимал.

– А вот в Венеции...

– Про Венецию я знаю, – перебивал Симон.

И действительно, стоило кому-то сказать: Венеция, о, Венеция! – как сразу же безбилетным пассажиром лезло воспоминание о Сереже Сумке. Воспоминание так и называлось: «Сумка в Венеции».

Сумку тоже застукал дождь. Но дождь не дождь, а как, оказавшись в Венеции, не прокатиться в гондоле? Хотя лезть в нее и плыть под проливным дождем, сказать по правде, не очень хотелось. Но надо, потому что потом соотечественники строго взыщут это впечатление. Сумка влез в гондолу – а дождь проливной, зябко! – откуда-то на голове у Сумки взялась шапка-ушанка со спущенными ушами, а кругом плывет по каналам мусор, непотребность – лепота-а! Сумка в ушанке честно пытается наслаждаться – получается плохо, а тут еще промокший с головы до пят гондольер, с ненавистью глядя на Сумку, спрашивает:

– Спеть?

– Не надо, – ответил Сумка.

Симон очень смеялся.

В общем, мир существовал в таких вот картинках.

Сам же Симон безвылазно жил в Питере, но родился, по воле случая, в южном городе Райске, куда приехали его родители, подчинившись когда-то приказу Родины и велению сердца (это чудесным образом совпало). В Райске было вечное лето (нет, наверное, была и зима, но память не приобщила ее к делу).

...Каждую ночь за Симоном являлся трамвай – дзинькал, тринькал – и увозил его в Райск, где сны заботливо, как власти города Брюгге, расселяли жителей по домам, до краев наполняли песочницы, раскачивали качели...

Он помнил точно, что звали ее каким-то драгоценным камнем (Рубин? Изумруд?...)... Смуглая, цвета кофейных зерен, она сидела в парке и ела жердели. Отрок Симон глядел ей в рот, не в силах оторвать взгляда от ее коричневых губ и оранжевых ягод.

– Хочешь? – спросила она и протянула ему дикий абрикос.

Симон хотел, но не взял.

Жизнь состояла вот из таких неосуществленных желаний.

Потом ее кто-то позвал (Агат? Бирюза?), и она поспешила на зов. Все. И ничего красивей ее имени, оранжевых пятен жерделей и тонких щиколоток, увенчанных браслетами, в жизни Симона не было.

С тех пор Симон всегда глядел на женские щиколотки: оказалось, что тонкие щиколотки – большая редкость.

Как же ее все-таки звали?.. Симону хотелось вспомнить. Как заветное слово: скажешь – и дверь откроется. А там...

А что, кстати, там?..

И была суббота, и Симон смотрел в окно, и Симону было грустно.

Он включил телевизор: шел английский «Онегин», и Симон уселся смотреть. Но не сдюжил. И дело было даже не в том, что это был не Пушкин, а в том, что это было не кино. Но актер был хорош. Лицом. И лица было жаль. Татьяна тоже была бы хороша, если бы была не Татьяной: Симону она показалась слишком дородной. И когда мечтательная Татьяна (Ларина!) спросила у Онегина: вы вчера серьезно говорили про оброк? – Симон не выдержал и выключил телевизор.

– А почему ты, кстати, решил, что Татьяна худая?! – с вызовом спросила чрезвычайно упитанная Вера Петровна.

– Не худая, а тонкая.

– Какая разница?

– Разница в отношении.

Вера Петровна пожала плечами:

– Ну хорошо, почему ты решил, что Татьяна тонкая?

– Это не я решил, а Пушкин: «...и утренней зари бледней...»

– Ну и что? – не сдавалась Вера Петровна. – Почему при этом она не может быть полной?

Симон взорвался:

– Ну, если полная и при этом бледная, то очень больная!

– Что ты имеешь в виду? – вспыхнула Вера Петровна.

– Только то, что я сказал, – ответил Симон, спеша к выходу, дабы опередить поминание Верой Петровной всеу покойного мужа-офицера, каждый раз переворачивающегося, как казалось Симону, в гробу.

Симон решил пройтись. По дороге он думал о том о сем, о времени и о себе, и на самом интересном месте своих размышлений наткнулся на толпу, перегородившую ему путь.

– А что случилось? – спросил Симон.

– Мужик из окна вывалился, – ответил кто-то.

– Или помогли ему вывалиться, – добавил другой.

На асфальте был разбросан фарш, Симон обратил внимание. Мужик, значит, за фаршем ходил, котлеток хотел нажарить. Да вдруг передумал, сказал: а ну его к черту! – и сиганул из окна. Гамлетовский вопрос не осилил. Или осилил. И выпал. Или помогли ему выпасть. Из-за фарша этого. Отдай фарш! – не отдам. Отдай! – не отдам. И мент аккуратненько, в перчатках, этот фарш в пакет собирал. Уместно ли? – осуждал Симон: да черт с ним, с фаршем, до фарша ли тут?

– Это мозги, – сказал кто-то рядом.

– Какие мозги? – не понял Симон.

– Его мозги. Мужика.

До Симона дошло. Потянуло к рвоте. Симон огляделся – люди стояли спокойно, никого не рвало. Привыкли? – страшно подумал Симон. И его вырвало.

– Ненормальный! – сказали рядом.

– Да пошли вы!.. – ответил Симон нормальным – ответил, правда, наутро, обращаясь к обоям. Чтобы он ответил вчера, надо было обидеть его позавчера: Симон был крепок национальным задним умом.

Плохо, плохо было Симону с нормальными. Какая-то хроническая неадекватность.

А ночью он снова катался в трамвае, и тихий голос ласково звал: Лиля, Лилля!..

Лилля? – удивился утром Симон. – Почему Лилля? И вспомнил.

Звали его Темой.

Маленький даун плакал, сидя на скамейке во двореике Дома малютки, и проходивший мимо Симон не выдержал:

– Он плачет!..

– Он все время плачет, – сказала няня.

– Почему?

– Болен, – ответила няня и, взяв малыша на руки, вдруг ласково позвала: – Ли-ля, Ли-ля!..

– Это девочка? – удивился Симон.

– Нет, это Тема.

– Почему же вы зовете его Лилей?

– Я не его зову – я зову его хорошее воспоминание, – ответила няня. – Он перестает плакать и всегда улыбается, когда мы говорим ему: Лиля, Лиля.

И малыш действительно перестал плакать, улыбнулся, прислушался.

– А кто это – Лиля?

– Воспитательница, она очень любила Тему, и он это помнит.

– А где она?

– Вышла замуж, уехала.

Симон поглядел на Тему. Какой-то сбой хромосом, и на свет явилось дитя, оплакивающее свою жизнь. И только имя утраченной Лили – воспоминание о счастье! – несло ему радость и утешение.

– Лиля, Лиля!..

Симон поглядел в окно. Состояние души совпало с состоянием природы, состояние природы – с музыкой, и музыка была права.

И Симон подумал, что даже не может вспомнить имени, чтобы позвать... Агат, Агат!.. Лиля, Лиля!.. Нет, не откликалось.

Может, поехать в Райск?.. – подумал Симон. Но нельзя дважды вступить в одну и ту же реку – чревато: можно вступить во что-то другое. Во что всегда вступает Симон, заглядевшись на небо. Да и потом – нужны деньги. А откуда у интеллигентного человека могут быть деньги?

Симон жил плохо. И это было хорошо. Потому что, если бы Симон жил хорошо, ему было бы еще хуже: быть счастливым недостойно, считал Симон. Если есть Тема и нет Лили. Если есть мозги на асфальте и нет за это вины.

Как и миллионы сограждан, Симон жил эмигрантом в своей отчизне, повернувшейся на переломе эпох к Симону задом, а к людоедам передом, и даже перчатка у Симона, как у эмигрантов Набокова, была всегда овдовевшая.

Нет, поначалу Симон тоже поволновался, повибрировал душой с обществом, поборолся за права и свободы – оказалось, что боролся за права людоедов, – и отошел в сторону. Открыл книгу и стал читать. «Дай руку, читатель!» – говорил Симону Набоков, и Симон протягивал ему свою белую нежную руку и уходил за ним прочь – туда, где весна, где Фиальта, где облако, озеро, башня...

Но жизнь готовила Симону утешительный приз.

И свалилось на Симона богатство: наследство от Греты. Не бог вещь какое, но для человека с воображением – достаточно.

Симон всегда отличался остротой восприятия мира, но острота восприятия денег Симону была чужда. А тут он ее воспринял. И почувствовал во рту сладковатый привкус каштанов.

Париж! Конечно, Париж. «Париж, что скажешь, Париж? Париж, скажи, что я люблю».

А может, Брюгге? – мечтал Симон. Город-музей. Старина. Стык вечности и времени. Интересно.

– Лучше Греция! – помогала мечтать Симону Вера Петровна.

Может, и Греция... или – Амстердам?..

О, выбор – Симон понаслышке, из литературы, знал, что это большое искушение. И теперь Симон искушался.

Будучи человеком книжным и хорошо зная из классики о столкновении мечты и действительности, причем не в пользу первой, Симон видел эту жизнь как Пикассо: сразу с трех сторон – спереди, сбоку, с затылка. И мог предположить результаты. И Симону было страшно: «изменишь облик ты». Симон не боялся зря потратить деньги – он боялся утратить мечту. Ведь что такое жизнь? – утрата желаний.

Сначала пропадает желание есть песок. (Симон, выплюнь немедленно, тебе говорят!) Стоять по колено в луже и шлепать, шлепать по ней – красота-а (а почему нельзя? нет, ну вы хотя бы объясните!)... Есть снег и такие аппетитные сосульки (тоже нельзя? а что можно?). Потом пропало желание вырасти и безнаказанно съесть сто порций мороженого. На, Симон, ешь, уже можно, никто не скажет, что нельзя, чего стоишь, глупый?

Желаний не осталось почти. Разве что вспомнить то драгоценное имя и позвать: Изумру-уд! Топа-аз!.. (Нет, не то, не то: не откликалось.)

В конце концов Симон рассудил так: а зачем я поеду в Париж? Вдруг дождя не будет, засуха, каштанов неурожай, да мало ли. Пожалеешь, что не поехал в Амстердам.

В Амстердаме тоже все будет не так, это ж известно. Задерется подол, обнажится испод, и Симон прочтет неприличные слова. А неприличные слова он может прочесть и на стенах Северной Венеции, не выходя из подъезда.

В Брюгге поедешь – статистов не завезут, забастовка водителей, и Симона встретит мертвый, как латынь, город.

Кстати, о латыни!

И был у Симона друг.

Друг жил в Древнем Риме. Он эмигрировал туда бесповоротно и окончательно, как только страна сыграла в третий заход гимн Александра – Михалкова, и обратно не возвращался. Древний Рим находился рядом, на линии Седьмой, в доме с кариатидами, на третьем этаже: обшарпанная дверь, за дверью горы книг, за книгами Егор.

...Ах, как хорошо, когда совсем плохо, взять да позвонить Егору и спросить: что делаешь, Егор?

А он ответит:

– Гиппократы читаю.

Или:

– Высчитываю параллаксы звезд.

Вот такой Егор. Все деньги считают, а он – звезды.

Иногда Симону хотелось спросить: а как он такой сохранился? Что ел, что пил? – может, это важно? Симон знал, что временами ничего не ел и ничего не пил. Может, это важно?

Еще Егор изучает мертвые языки, которые никогда не умрут, пока на них кто-нибудь говорит (например, Егор). Пишет книги о канувших в Лету цивилизациях и подбирает на улице всех умирающих собак. Такое впечатление, что все бездомные собаки Васильевского острова нарочно идут умирать на глазах у Егора, ну просто караулят его.

Симон знал, что, когда будет совсем плохо, он тоже пойдет умирать на глазах у Егора: подберет. Как двух китайских бизнесменов.

Шли себе по улице бездомные китайцы, маленькие такие, худенькие, никому до них не было никакого дела, кроме Егора. Нет, Егор, быть может, тоже с удовольствием прошел бы мимо, но! Личная ответственность перед чужой бедой называется. Дар Божий. (Который очень смахивает на проклятие.)

И Егор привел китайцев к себе, оставил жить. Жили они год, потом ушли, заплатив, как водится, черной неблагодарностью. (Но не заплатив при этом по счетам за телефонные переговоры.) С тех пор Егор подбирает только собак.

Однажды Егор подарил Симону свой авторский «Звездный атлас» и сказал:

– Очень удобен в быту.

Вот так, варит Симон там, стирает, раз – и глянул в атлас: где там моя счастливая звезда, чай, погасла? Действительно очень удобно. В быту.

Блажен, кто верует. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный Егор!..

Будь на то Симонова воля, он бы сегодня же всех блаженных причислил к лику святых. Как Ксению Петербургскую. А что? Егор Петербургский. Звучит. И все собаки, и звезды будут на его, Симоновой, стороне.

Егор никогда не видел Древнего Рима, но он его представлял. И современного Рима Егор тоже никогда не видел, но тоже его представлял. Егор жил представлениями, как и Симон.

Друг написал много книг о Древнем Риме, а Рима отродясь не видал – справедливо ли это? И Симон стал думать своей хорошей головой. И придумал.

Значит, жил Егор на соседней линии. Между линиями великий Петр мечтал, чтобы текла вода. Предполагалось, что Симон будет плыть к Егору в гондоле, как Сумка в Венеции, но жизнь распорядилась иначе, и Симон шагал по асфальту, с удовольствием предвкушая его, Егорову, радость.

– Хочешь в Рим? – с порога спросил Симон.

– Нет, – с порога ответил друг.

Симон опешил:

– Как – нет?

– А зачем? – спросил Егор.

Симон растерялся:

– Как – зачем? Пишешь книги о Древнем Риме, а сам Рима никогда не видал!

– Так я ж о Древнем Риме пишу, – возразил друг. – Ты что, билет в машину времени мне предлагаешь?

– Да какая разница! – Симон горячился. – Колизей тот же!

– Колизей тот же, – согласился Егор. – А письма новые: «Здесь был Жорик».

– При чем тут Жорик! – не сдавался Симон. – Съездил бы, увидел – еще лучше бы книгу написал.

Егор улыбнулся:

– Тысячи людей каждый день летают в Рим, а пишут не лучше. Они вообще книг не пишут. И не читают. Чтобы верить в Бога, необязательно Его видеть.

Как все за мечту свою держатся, однако, – подумал Симон.

– Так не поедешь?

– Нет.

– Ну ладно, – огорчился Симон.

– Слушай. – И Егор ласково взглянул на друга: – У меня к тебе просьба: возьми собаку!

Симон рассмеялся:

– Это уже было: Чехов, четвертый том, «Дорогая собака».

– Нет, я серьезно, возьми!

– Опять подобрал?

– Потерялась, – кивнул Егор. – Но никто не ищет. Породистая собака, возьми!

– Оставь себе, – разрешил Симон.

– Не могу, – вздохнул Егор. – Это бультерьер, собака-убийца: она моих собак перегрызет.

– Трогательно, – заметил Симон. – Так пусть она лучше перегрызет меня?

– Она еще маленькая, щенок.

– Но она же вырастет!

– Она в наморднике.

– Егор!.. – И Симон опять рассмеялся. – Ты ненормальный. Я обожаю тебя.

– Спасибо, – ответил Егор.

Вернувшись домой, Симон постучался к художнику:

– Хочешь в Европу?

– Опять? – испугался художник. – Да я оттуда едва ноги унес!..

– Если ты художник, то тебе нужны впечатления, – настаивал Симон.

– Если ты художник, – не сдавался сосед, – то тебе хватит и окна: вон Вермеер всю жизнь рисовал окно – и ничего, люди довольны.

Симон постучался к Вере Петровне.

– Вам нужны деньги? – спросил Симон.

– Да как ты смеешь?! – размечталась Вера Петровна, вообразив, что Симон делает ей непристойное предложение, покушаясь на ее честь. – Да я вдова офицера!.. Да я...

«Дура ты», – идя к себе, думал Симон.

Никому не нужны деньги, недоумевал Симон, сам себе не верю.

Он снова заходил к Егору – трижды получил отказ, вновь стучал в дверь художника – безрезультатно.

А может, все же поехать в Райск?.. Город моих снов? Но этого города нет, он остался у Симона внутри: «Во мне самой, во мне самой – узнаешь ли меня?» К тому же в Райск он ездит и так, причем каждую ночь и совершенно бесплатно.

Симон метался. Перестал спать по ночам, трамвай не являлся по расписанию, все полетело в тартарары.

И однажды Симон решился. Взял паспорт, деньги и двинул в турфирму.

В турфирме его уже знали. И уже хотели куда-нибудь отправить: так он всем надоел. Как на грех, Симон поспел аккурат к обеденному перерыву. Он потоптался на месте, поглядел на часы, почесал свою красивую прическу...

И пошел Симон по базару посмотреть кой-какого товару. А навстречу ему Балда – идет, сам не зная куда.

И Балда ему говорит:

– Ну и денек сегодня! Ну просто светопреставление!.. Или карнавал будет?

– Вы меня спрашиваете? – удивился Симон.

– Нет, это вопрос, так сказать, риторический. – И Симону понравилось в устах обшарпанного незнакомца это литературное слово.

– А осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным? – весело спросил Балда, и что-то показалось в нем Симону знакомым.

Симон, стесняясь, стал искать по карманам мелочь.

Балда с достоинством отвел руку Симона с рублем, покачал головой и с укором сказал:

– Вы меня не поняли, сударь. Я чувствительного и образованного человека ищу...

– Извините, – покраснел Симон, приятно удивленный антикварностью речи незнакомца, похожего ликом на дворянина, но обедневшего. Но – дворянина. Но – обедневшего. Но – дворянина.

Незнакомец тем временем распахнул плащ, и Симон узрел у него за пазухой бутылку водки.

– Не понял, – растерялся Симон.

– Не обижайтесь, сударь, я хотел вам поведать историю... Не откажите в удовольствии пригласить вас на трапезу.

– Я не пью, – виновато сказал Симон.

– Извините, – незнакомец запахнул плащ. – Но я не нашел предлога подойти к вам. У вас такое хорошее лицо.

«Как у Онегина, – подумал Симон. – И лица жаль».

– А зачем вам мое лицо? – спросил Симон.

– Сейчас объясню. Вам говорили, что вы похожи на Бальзака? Мой любимый писатель, представьте, да. Я как увидел вас!.. Сударь, может, пива?

А почему бы не выпить пива? – вдруг подумал Симон.

– Только я куплю, – сказал Симон.

– Хорошо, – согласился незнакомец, – но сначала выпьем-ка это. – И незнакомец вновь распахнул плащ.

– Все свое ношу с собой, – усмехнулся Симон, узрев под плащом незнакомца и пиво.

– Omnia mea mecum porto, – перевел на латынь Балда, опять приятно удивив Симона, тем и купив его с потрохами. «А жить интересно!» – решил Симон.

Они уселись на скамейку, глотнули пива, и незнакомец сказал:

– Чудная история, сударь. Вы позволите вас так называть?

Симон позволил.

– Пью, ибо сугубо страдать хочу. Бедность не порок, это истина. Знаю я, что и пьянство не добродетель, и это тем паче. Но нищета, милостивый государь, нищета – порок-с, – так, кажется, начинал свою исповедь Раскольникову Мармеладов?..

Симон вздохнул с облегчением: ну конечно же! Мармеладов!..

– Я не Мармеладов, я только учусь, – продолжал незнакомец. – И я не буду сейчас укачивать вас историей своей жизни, хотя она занята, поверьте, а расскажу вам случай, который произошел со мной давеча... Сижу я, значит, в кафешке, очень приличной, кстати, там даже барышни мороженое едят, и не только барышни, – таинственно подмигнул не-Мармеладов. – Пью, значит, пиво, не чуя беды, когда вдруг за столик ко мне присели – в смысле, спустились с небес! – защебетав, две девушки – это я по голосам определил, погруженный еще душой и зрением на дно бокала. Осушив его, я поднял глаза и... остолбенел! Вы не поверите, сударь, но это чистейшая правда: передо мной сидели Пушкин и Гоголь.

«Сколько ж, однако, ты выпил!» – подумал Симон, но вежливо промолчал.

– Да-с, Пушкин и Гоголь! – насладившись эффектом, продолжил не-Мармеладов. – И вы поймете мое смятение, сударь, если узнаете, что это были не просто Пушкин и Гоголь, а Пушкин и Гоголь в женском обличье!

А жить интересно! – с удовольствием опять подумал Симон.

– Я зажмурился, как полагается в таких случаях. – И не-Мармеладов показал Симону, как он это сделал. – Покрутил головой в надежде стряхнуть дурман и как-то урезонить расшалившуюся действительность, но тщетно: классики не исчезли – напротив, как ни в чем не бывало ели пирожное со сливками.

Тогда я строго сказал (а я всегда после пива бываю очень строг):

– Девочки, вы кто?

– А вы? – с вызовом спросила девушка справа: открытый лобик, косой пробор, длинненький острый носик и, если приглядеться (и даже если не приглядываться!), усики над губкой; и все аккуратненько так, по-женски, тонкой кисточкой, невыразимо!..

– Я? – сказал я. – Ну, тогда я – Кюхельбекер.

Классики рассмеялись.

– Не похож, – сказала другая – смуглая, кудрявая и юная, как Пушкин в лице.

– Да? – сказал я. – Ну, тогда – Анна Керн.

Классики опять рассмеялись: настроение, значит, хорошее.

– Что? – говорю. – Тоже не похож?

– Ну, не очень, – ответила Пушкин.

– А вот вы – так о-очень!.. – говорю я.

– Что – о-очень? – передразнила меня Гоголь.

– Похожи, – отвечаю я.

– На кого? – спросила Пушкин.

– Да на самих себя.

Великие писатели посмотрели друг на дружку и усмехнулись.

– Очень остроумно, – сказала солнце русской поэзии и откусило пирожное, измазавшись сливками.

Я опять пропустил бокальчик, закусил для смелости другим и так прямо (а я человек прямой!) заявляю:

– Я узнал вас: вы – Пушкин, а вы, конечно, Гоголь!

Классики расхохотались, притворно бурно, а пуще Гоголь, смущенно прикрывая усики над губкой.

– Жизнь, значит, вечна? – продолжаю я. – Душа в заветной лире ваш прах пережила...

– Вы сумасшедший? – спросила меня Гоголь и, обернувшись к подруге, сказала: – Нам пора, Шурочка.

– Идем, Ника, – ответила Пушкин.

Заметьте, Ника и Шурочка! А? Каково?! Как вам понравится эта история, сударь?

– Очень нравится! – искренне ответил Симон.

Я, значит, за ними, мол, коль посчастливилось, такая честь, сподобился и все такое, позвольте вас спросить... А Пушкин мне орет:

– Отстань, тербень кабацкая! – и тростью, тростью!..

– А трость-то откуда? – удивился Симон.

– А догадайтесь с третьего раза.

– Признайтесь, вы все это выдумали, – наслаждался Симон.

– А это откуда? – И не-Мармеладов указал на свой лоб с шишаком.

«Да мало ли...» – подумал Симон.

– Так я к чему все это, – задумчиво произнес не-Мармеладов. – Пушкин, Гоголь, едва очухался, а тут вы – Бальзак. Пряма серия «Живая классика». Верьте, верьте мне, сударь, грядет конец света: природа зациклилась, повторяется, ничего не может придумать лучше. Конец света близится.

– А чем вы занимаетесь? – Симон не чаял души в незнакомце.

– Э-э!.. чем я только не занимаюсь!.. Мечтаю в основном. Грежу. Василеостровский мечтатель!.. Но жизнь, как известно, не жалуется мечтателей. Помните, у Чехова: «И куда только не заносит нелегкая интеллигентного человека!»? Про меня сказано.

– Ясно, – сказал Симон, хотя ему было не совсем ясно.

– Лохов дурю, – пояснил не-Мармеладов.

– Каких лохов? – не понял Симон.

– Да всяких, кто попадется. Ленин дурак был, – вдруг сказал не-Мармеладов. – Уничтожил всех богатых, а надо было уничтожить всех бедных – и никаких проблем. Вы согласны со мной, сударь?

– Вопрос философский, – уклонился Симон.

– Ваша правда, – подхватил не-Мармеладов. – Именно что философский. Конец света близится, сударь мой, не знаю даже, успеем ли еще выпить. Ну, твоя очередь, господин хороший, бежать за пивом. Обещал.

Симон поспешно двинулся к киоску. Фруктов бы купить, что ли, подумал Симон и, заняв очередь за пивом, пошел по рядам. Ряды пестрели неопознанными предметами, снова попались на глаза заморские каштаны – Симон загляделся. Сколько? – спросил Симон и полез за кошельком.

Карман был пуст.

Симон испугался, снова испугался, возникло острое желание присесть, расстегнуть ворот, выразить невыразимое – и Симон даже забыл о незнакомце. Вспомнил, бросился назад, к скамейке...

Скамейка была пуста.

Симон вернулся домой, поставил на плиту чайник, включил радио, и радио поведало Симону какую-то чеховскую историю о том, как жители города Энска срезают провода на столбах и сдают их в пункты приема цветного металла и по этой причине город Энск погружен в темноту. Власти повесили новые провода, и новые провода граждане сняли и сдали туда же. Живем в темноте, жаловались граждане Симону (почему-то Симону!). Симон добросовестно внимал и не знал, чем помочь идиотам.

Потом радио сообщило Симону о катастрофе в европейском курортном городе, где погибли люди, имевшие намерение скатиться на лыжах с горы, а не сгореть в фуникулере, но сгорели.

И Симон с отчаянием подумал, что погибли самые лучшие – здоровые и богатые, а больные и бедные остались жить на Шестой линии Васильевского острова и на Седьмой. И Симон пошлепал на Седьмую.

– Хорошо, что зашел! – обрадовался Егор. – Говоришь, лишние деньги у тебя?

– Были. – И Симон рассказал.

– Да он у тебя и украл! – воскликнул Егор.

– Кто?

– Да твой Балда, не-Мармеладов, кто ж еще. Василеостровский мечтатель, блин!..

– Да ты что!.. – оскорбился Симон.

– Ты безнадежный, – махнул Егор рукой. – Ну просто лох.

Симон вздрогнул.

И тут до него дошло.

«Лохов дурю». Честно сказал. В лицо. Лохов. А кто Симон есть? Лох. Симон рассмеялся, покачал головой, снова рассмеялся. Надо же, а какое представление устроил – тут и Чехов тебе, и латынь, и Гоголь, и Пушкин... Да за такое представление и денег не жаль! Дорогого стоит. Жить интересно.

– Значит, денег нет... – вздохнул Егор.

– Нет, – подтвердил Симон.

– Жаль, – сказал Егор.

– А что, надумал в Рим поехать?

– К черту Рим. Бизнесом решил заняться. С одним приятелем. Очень порядочным человеком.

– Ну, для этого тебе мерзавец нужен, а не порядочный человек, – заметил Симон. – С порядочным прогоришь.

– Ну, мерзавец быстро найдется, за этим дело не станет.

– А бизнес-то какой?

– Книги издавать.

– Хорошее дело, – согласился Симон.

– Да, – подтвердил Егор. – Детективы. Эдакие пособия для киллеров.

– Не понял, – признался Симон.

– А что тут непонятного?

– Решил стать негодяем? Это непросто интеллигентному человеку.

– Непросто, но как там в песне поется: мечтать, надо мечтать детям орлиного племени!..

– Ты шутишь? – с надеждой спросил Симон.

– Ничуть.

– Белены объелся?

– Я еще сегодня ничего и никого не ел.

Симон молча смотрел на друга. Три кита, на которых стоит остров, расползлись в разные стороны, и почва ушла из-под ног. Атланты под балконами сплунули, и балконы рухнули на бальзаковскую прическу Симона.

– А как же Древний Рим?.. – спросил Симон.

– Древний Рим мертв. Да и кому он нужен, если честно?

– Мне.

– Ну так ты и пиши о Древнем Риме.

– И тебе!

– Мне деньги нужны – собак кормить. Все, дело решенное. И кстати, принимаем тебя в авторы. А что? Давай попробуй. С твоим-то багажом!.. Только предупреждаю: никакой литературы в тексте – вещь испортишь. Все на уровне «мама мыла раму». Не более того.

– Да я такое дерьмо читать не могу – не то что писать!..

– Гордыня! – поморщился Егор.

Симон пытливо глядел на друга, но Егор был серьезен.

– Ты попадешь в ад, – сказал Симон.

– Ну знаешь!.. – усмехнулся Егор. – Это дело такое: попадешь в православный рай – не минуешь католический ад, попадешь в католический рай – гореть тебе в мусульманском аду. Безнадежно.

Помолчали.

– Ну, заработаешь денег, дальше-то что?

– Счастье.

– Счастье – это состояние души.

– Вот именно: заработаешь денег, сядешь в самолет, прилетишь на какие-нибудь Канары, ляжешь на песок – и такое состояние души – доложу я тебе!..

– Знаешь, – сказал Симон. – У меня чувство, что меня обокрали.

– Верное чувство, – согласился Егор.

– И знаешь кто?

– Знаю, не-Мармеладов.

– Нет, ты, – устало сказал Симон. – Не-Мармеладов, можно сказать, заработал. А ты меня обокрал.

Дома Симон постучался к художнику.

– Что делаешь? – спросил Симон. – Окно рисуешь?

– Фильм по видику смотрю.

– Про что?

– Про бедных, больных, дурных и несчастных. Хочешь посмотреть?

– Нет, – ответил Симон. В душе зияла озоновая дыра.

...Но свято место пусто не бывает, и ночью за Симоном приехал трамвай – дзынькнул, фыркнул и покатил по улицам, щедро усыпанным оранжевыми пятнами жерделей, и из окна их старого дома вдруг показалась Грета, замахала Симону рукой, протянула корзину – сливы, Симон! сливы! красивые, как алмаз!.. алмаз! алмаз! – кричала Грета, причем как-то странно произнося это слово – с мягким «л» и глухим «з», – и Симон недоумевал: при чем тут алмаз? какой алмаз? – и проснулся.

Сон разволновал, растревожил, к чему бы это? – подумал Симон и вдруг понял: алмаз! Да-да, конечно, алмаз!..

Звали ее Альмас.

Симон улыбнулся.

– Альмас, Альмас!.. – позвал Симон. И прислушался.

«Если б не было тебя...»

Елене Плугатыревой

– Мы все как-то склонны переоценивать роль искусства, – с досадой сказал однажды (во дни сомнений, во дни тягостных раздумий) один знаменитый режиссер. – «Искусство влияет на людей...» Да ни на кого оно не влияет – что мы там о себе возомнили!..

Ну не скажите, маэстро. Еще как влияет. Фатально влияет. Ну просто ужасно влияет!..

Природа состоит из кривых линий, из несовершенств – из толстых щиколоток, коротких ног, больших носов (в массе). Нет, попадаются, конечно, и тонкие носы, но не в массе, не в одном месте, тут единство времени и места не срабатывает, природа не собирает в одну кучу все достоинства разом – это под силу лишь плохому режиссеру, согнавшему на съемочную площадку длинноногих большеглазых газелей и заставившему впоследствии Юру грезить в кинозале о таком вот райском месте, где он, Юра (состоящий, кстати, из кривых и не совсем совершенных линий), будет стоять в центре, а на него с восхищением будут смотреть немыслимые красавицы, водопадом летящие по ступеням...

Юра объездил много стран (тот фильм был иностранный), но такого райского места так и не нашел. Хотя честно искал, потратив на это жизнь. Но везде были толстые, худые, кривые (все живое – кривое, Юра!) – большое разнообразие в природе наблюдал Юра, не уставая удивляться и печалиться этому разнообразию. Нет, попадались, конечно, отдельные особи, но – не водопадом, подчеркиваем, не косяком, и летели они не к Юре.

Собственно, это рассказ о пагубном воздействии искусства на людей. Рассказ короткий, как наша жизнь, и бесконечный, как жизнь искусства (зри классику).

В юности Вера была без памяти влюблена в Гойко Митича. Вариант глухой, конечно, потому что этому главному индейцу стран Варшавского договора, этому ходячему идеалу мужской красоты, этому кумиру миллионов только Веры и не хватало.

А оказалось, что не хватало.

Но по порядку.

Значит, Вера была влюблена. Страстно. Безумно. Серьезная девушка, прекрасный специалист, и вот такая напасть.

О любви Веры знали все. Настолько все, что однажды об этом узнал и сам Гойко Митич.

Кинозвезда как раз совершала кругосветное путешествие на корабле, на котором волею судеб оказался и сослуживец Веры, такое вот киношное стечение обстоятельств.

Значит, плыл себе сослуживец, и вдруг глядь – Чингачгук Большой Змей на палубе стоит! Собственной персоной. Случай упускать нельзя, решил коллега Веры, другого может и не быть.

Ну, подошел, разговорились (на неважном английском). И коллега через пень-колоду поведал главному индейцу всех времен и народов историю Вериной любви...

Рассказ произвел на звезду сильнейшее впечатление – какая-то девушка из далекого Ленинграда, красавица (коллега Веры настаивал!) – и безнадежно в него влюблена!

В общем, Чингачгук так проникся услышанным, что написал Вере письмо и даже пригласил ее к себе в гости. И расторопный сослуживец сыграл роль почтового голубя, принеся это письмо Вере в клюве.

Но было поздно.

То есть пока сослуживец улаживал ее личные дела, причем так успешно, Вера...

Вера уже любила другого – Джо Дассена. (А вот не надо смеяться!)

То есть вот эту мужественность, это благородство воина, этот честный волевой взгляд и эти серьезные мышцы (которые, по правде говоря, нравятся больше самим мужчинам, нежели женщинам!) – всю эту роскошь затмила собой французская subtilité, рефлексия, кучерявая голова и изящный французский торс. Короче, мужчина в белом. Ну и голос, конечно. О, этот голос. «Если б не было тебя...» А эта улыбка!..

И Вера влюбилась.

Хоть посылай опять этого почтового голубя (сослуживца, в смысле) в новое кругосветное путешествие в поисках счастья девы!..

Но надо сказать, что никто не одобрил такого поворота в сюжете, такого легкомыслия в чувствах: вот оно, счастье, Вера, вот она, встреча, ты что?! Вера?! (Нет, ну ненормальная, да?) Сам Гойко Митич жаждет с ней встречи, а Вера!..

Нет, отныне и навсегда только Джо Дассен.

Но и с Джо Дассеном у Веры тоже не сложилось.

– Не успела, не успела... – печально повторяла Вера, как будто бы успеет она, изловчись, смоги – перелезть через тот проклятый железный занавес – и он остался бы жив!

Ну а кто его знает?

Все эти дивные рассказы о Вериней любви Марина рассказывает посреди толкотни и шума в метро, сидя на скамейке где-то в переходе между развилкой поездов на Сенную и Василеостровскую.

О Марине. На ее новом берете два игривых помпона (почему-то кажется, что в таком берете Марина мечтала пойти в первый класс), две кошелки со снедью и

редакционными рукописями, которые не горят (да что б они сгорели!) – в общем, две тети после работы присели на скамью, и их затянуло в воронку воспоминаний.

– А ты знаешь, что предки Джо Дассена были из Одессы?!

– И не у него одного. А предки Робера Оссейна, Дугласа!..

– Разве они тоже из Одессы?..

– Какая разница!

Замолкаем, вдруг свалившись в бездну с обрыва мысли: боже мой, это же наши одесские мальчишки! И какие мальчишки!.. Наши девочки могли их встретить на одесском пляже, куда мотались на каникулах в юности, на каком-нибудь Ланжероне, где «у моря, у синего моря...».

В общем, две уже сильно повзрослевшие девушки сидят в метро и вспоминают время, когда их мальчишки косили под героев Ремарка и Хэма, а девочки – под героинь: странные, непонятные, сложные... Сложные мужчины, сложные женщины. Контуженные искусством. И сколько муки было выпито зря!..

С тех пор отвращение и к тем и к другим.

– ...Нет, ну как это можно. Ну кто ж не любил Джо Дассена!.. Кто ж не грезил, слушая его «Если б не было тебя...», что он поет именно о ней!.. Но всю жизнь любить мечту, эфир, воздух? Еще пошлее – артиста. Надуманная жизнь.

– Ну не скажи, – говорит Марина. – Да я сама, если хочешь знать, вышла замуж за Цибульского.

– За какого Цибульского?..

– Володька в юности был вылитый Збигнев Цибульский: такой же фейс, очки, прическа ежик и эти ботинки на микропоре, помнишь? Каждый раз из всех командировок я везла ему эти чертовы американские боты!..

И тут, видимо, наступил момент истины.

– Честно говоря, если вдуматься, то и я вышла замуж за мистера Дарси...
Мистера Дарси, гордого и предубежденного. А до этого страстно любила графа Альберта Рудольштадта.

– Ну вот видишь. А ты говоришь.

Ну так о Вере.

Марина встретила ее много лет спустя, шагая по улице со своим пятилетним внуком Митей, – и, увидев Митю, Вера остолбенела. Остолбенела, пришла в себя (или не пришла) и закричала:

– Это же Джо Дассен!

Митя улыбнулся тете.

И эта улыбка доконала Веру.

– Это его душа!..

И Вера сказала Мите:

– Ты – Джо. Тебя зовут Джо.

И тут же последовал контрольный вопрос:

– Как тебя зовут?

– Джо, – ответил Вере восприимчивый мальчик.

И был даже такой эпизод на даче. Митя мирно возился в песочнице, когда откуда-то, из соседнего окна, с пластинки или из радиоприемника, вдруг поплыл, обволакивая душу нежным туманом, этот голос: «Если б не было тебя...»

Митя поднял голову, прислушался и спросил Марину:

– Это я пою?

«Следующая станция...»

– Ну, пора! – спохватывается Марина. – А то пан Цибульский и мистер Дарси зададут нам трепку за неготовый ужин.

И мы разбегаемся по домам, Марина – на Сенную, я – на Васильевский, унося с собой историю Веры и эту безумную мысль: а вот если представить, что они встретились?..

– Кто?

Ну Юра и Вера, эти два мечтателя, два очарованных странника... То кто его знает?..

Но они не встретились. Тут единство времени и места не срабатывает, тут надо звать на помощь того плохого режиссера.

А Вера замуж так и не вышла. По простой причине – «Если б не было тебя...». Но он ведь был!

А вы говорите, искусство не влияет!..

Гойко, кстати, тоже остался одинок.

Следы же Юры затерялись где-то в чужих странах, и неизвестно, ведут ли эти следы к счастью и стоит ли нам идти по этим следам.

А впечатлительный мальчик Митя вырос. Иногда, в праздники, он звонит Вере и говорит:

– Здравствуйте, Вера, это Джо.

В поисках прошлогоднего снега

– Допустим, когда снится рыба – это к болезни. А вот когда снится родина – это что значит?

– Посмотреть в соннике на «Кишинев»?

(Из утреннего разговора с маленькой дочкой)

Чужая ностальгия укачивает, как чужая любовь.

К тому же тосковать приличествует лишь по Москве и Питеру, а по Витебску, например, почтенно тосковать только Шагалу.

– Прощайте, – сказал Марк Шагал жителям Витебска. – Оставайтесь со своими селедками!

И уехал в Париж.

А селедки – за ним, за ним! Куда он – туда и они.

Он всю жизнь рисовал селедку. Селедку и Бэллу. Бэллу и селедку. И вот уже столет мир тарашится на них и глаз оторвать не может.

«Тоска по родине! Давно разоблаченная морока...»

Зося тоже ее разоблачила.

– Ностальгия – это понятие физико-химическое, – сообщает мне далекая и близкая Зося с берегов Байкала. – Мы на девяносто процентов состоим из воды.

Формула у воды одна, а структура везде разная. Наша кровь имеет ту же структуру, что и вода, которую мы пили в детстве. Поэтому мы физически страдаем в отрыве от родины.

Вот оно как...

А вода в Кишиневе жесткая – много кальция и у всех хорошие зубы: народ улыбается, не боясь своей белозубой улыбкой оскорбить взор.

В Питере вода мягкая... зубов нет.

– Вы приезжая? – обычно спрашивают меня стоматологи.

Живи еще хоть тыщу лет – ты умрешь здесь приезжей. Археологи вынут твой череп из могилы, посмотрят на зубы и разочарованно скажут: нет, она приезжая...

Но кто в этом городе коренной? Разве что лешие и русалки.

Другой

Петербург, новый суженый, был прекрасен – стройный, нарядный, красивый.

Но она любила другого.

Другого уже не было, и она была как бы вдова.

Вдова имеет право вновь выйти замуж. Тем более что новый город был действительно хорош – аристократическая небрежность, легкая небритость, манеры!.. Сложный, противоречивый, угрюмый – очень, очень интересный (чуть не сказала – муж-чина).

Но любить его – это общее место.

Любить его – это как любить мужчину, которого и так все любят.

Любить его – это во всеобщем хоре любви занять в последнем ряду последнее место.

Любить его...

Но кого любит он?

Он любит не нас. Он любит других, предавших его и унесших отсюда ноги, любящих его издалека, в каком-нибудь заморском саду, и ревнующих его оттуда к нам, пришлым.

Предательство – как приправа, придающая остроту, как витамин, питающий любовь.

И мою любовь – к другому, предавшему меня.

Ну вот зачем, спрашивается, я говорю об этом? Зачем я все время в мыслях (и в чувствах) возвращаюсь назад – что я там забыла?

Что-то, значит, забыла. Но уже хочется понять – что именно, чтобы вернуться, забрать и успокоиться.

Но можно ли это забрать? Если не знаешь – что?

Я нахожу Кишинев, как Исида части тела Осириса, в разных местах – в финском городе Лаппеенранта, в Питере за рекой Смоленкой (через Уральский мост налево) и даже в Греции – везде, где есть кривые линии, ниспадающие и восходящие, где трава, деревья, цветы, где есть весна...

В Петербурге весны нет – одна архитектура.

– А по Среднему проспекту – вниз или вверх?..

Прохожий долго соображает – о чем это я? Что имею в виду? «Вверх, вниз – может, по течению реки?» – думает прохожий.

Потому что – ну какое же это «вверх или вниз» в Петербурге, плоском, как тарелка?!

...А в Кишиневе земля круглая, как на картинах Шагала, – холмы, холмы, а что там, за холмами? Тайна.

А в Питере – дома, дома, а что там, за домами? Дом.

За домом дом.

Кишинев кругл. Кишинев сферичен. Кишинев висит в воздухе, цепляясь за него своими холмами, ветвями, плющом и виноградной лозой... И ему это нравится.

В детстве по зиме можно было сесть на саночки (например, в районе телецентра), оттолкнуться (прямо от телевышки!) и съехать вниз, очутившись в другом конце города, где-то в районе проспекта Молодежи – там, рядом, жила Алла и съезжала в это время с Пушкина-горки. Пушкина, потому что там есть дом, где когда-то жил Пушкин.

– Здравствуй, племя младое, незнакомое! – говорил Пушкин Алле.

– Здравствуй, – отвечает Алла из сугроба.

...Если город – это люди, то тело его, расчлененное, как тело несчастного Осириса, нужно собирать по всему белу свету.

«Собери Осириса – воскреси Осириса!» – картина-игра: посетитель выставки должен собрать эту расчлененку, которую художник, на манер злодея Сета, затейливо разбросал по всему полотну, – и тем воскресить Осириса. И будет молодец.

Я тоже, как жена Осириса Исида (и как этот молодец), собираю свой Город – в своих снах.

Сны

Он снится мне с маниакальной настойчивостью, как незахороненный солдат, требуя предать земле.

– Ну вот, – говорила я кому-то (значит, кто-то был рядом). – Мне все так и снилось: я иду по Пушкина вниз, ветер в лицо, листья... Я не говорила тебе, что я люблю ветер?..

И просыпалась.

И вновь собиралась в Кишинев.

– Зачем? – спрашивал муж. – Этого города нет. Это уже другой город. В одну и ту же реку нельзя вступить дважды, ты в курсе?

Я была в курсе.

– И зачем тебе в Кишинев? В Кишиневе ты уже была, – резонно говорил муж. – А на свете есть очень много городов, в которых ты еще не была.

И он был прав, конечно, но...

– Твой Кишинев от тебя никуда не уйдет, – уверял муж.

И это было верно, но...

Он уходил. Он все время куда-то уходил. Он оставался то слева, то справа, то под крылом, внизу, в окне иллюминатора, когда я срочно летела туда, не зная куда... Что-то вечно мешало, не отпускало, что-то очень важное, жаль не вспомнить – что.

«Этого города нет».

Но вот письмо от Аллы на тему «в городе дождь»: «...и реки текут прямо по мостовым по Пушкина вниз...» – сообщает Алла.

По Пушкина вниз!..

Значит, этот город все-таки есть! (Волнение в крови!) И в нем идут дожди. (Вот, написано!) И реки текут по мостовым по Пушкина вниз... (Такая чудесная подробность!)

А далее Алла писала, что для кого-то путеводной звездой является... Тут шел позабытый мной какой-то изысканный ряд (как и все изысканно, что пишет Алла), и в конце – «а для кого-то это фонарь за окном». Последнее было как бы уничижительно.

Но фонарь оказался мой. Я его сразу признала.

Только он стоит за окном, которое очень далеко от меня и которого, вообще-то говоря, наверное, и нет, но я все иду к нему – на свет угасшего фонаря, и это, конечно, ошибка.

Зачем же я иду, причем так ошибочно? Почти как Боря, тоже мой далекий и дорогой друг, который однажды, бросившись искать по закоулкам родного города свой прошлогодний снег, увидел надпись на белой стене – «Боря дурак».

Вот такое откровение прочел Боря, сильно издержавшись на дороге.

Длительное прошедшее

– «Прошедшее длительное время в английском языке образуется при помощи глагола «быть» в прошедшем времени и смыслового глагола в инфинитивной форме. Дополнительной характеристикой действия является его незаконченность. Например...»

– Да-да, вот приведи пример.

– Ну... «На полу лежала разбитая чашка...»

– И что тут длительного?!

– Ну а если чашка разбилась год назад!..

– То есть? Год назад разбилась – и все лежит? Ну такое может быть только у тебя.

– И у англичан! – ответ дан обиженно.

– Если честно, то и у меня... (Ответ дан печально.)

Потому что мое настоящее – это сплошное длительное прошедшее. Которое все никак не может закончиться. Разбитая сто лет назад чашка, лежащая на полу.

Сны

Ночью я опять летала во сне – с помощью ветра и шляпы.

При этом стараясь запомнить весь механизм взлета. Оказалось, все просто (я всегда это подозревала!): надо иметь шляпу – черную, с широкими полями, это важно! – поднять ее двумя руками над головой, дожждаться сильного порыва

ветра и...

Нужен еще холм. Холм – это обязательно. Значит, стоять на холме, держать наготове шляпу (крепко держать!), дождаться ветра, поймать его в шляпу (шляпа большая, вместительная!) – и!..

Прилететь на улицу Пушкина.

(А куда же еще лететь?..)

...Опустилась. И сказала кому-то (значит, кто-то опять был рядом!) – ну вот, мне все так и снилось: я иду по Пушкина, ветер в лицо, листья...

И просыпалась. Долго не веря в очевидность: не было никакого холма, шляпы, не дул ветер, не летели листья – ничего не было.

Но кто же этот непостижимый «кто-то»?! Вечный спутник, поводырь, сопровождающий меня в этих бесконечно повторяющихся снах, обрывающихся в одном и том же месте – «Ну вот, мне все так и снилось – я иду по Пушкина...».

Междугородний звонок.

– Ты в Питере? – изумляется Ирка.

– Как видишь.

– Слушай, а мне сказали, что ночью тебя видели здесь, в Кишиневе!

– Как это?

– Ты представляешь?! Я уже обзвонила всех, люди в смятении...

Значит, я и вправду была там. Раз люди видели. Я летала туда. С помощью ветра и шляпы.

– А кто меня видел?

– А пес его знает!.. Слушай, а ты точно в Питере? Не врешь?.. А, ну да, я ж звоню... Но ты точно не прилетала?..

– Я прилечу.

– Когда?

И тут очень важна интонация: резкая, строгая, требовательная, Иркина: когда?!

Когда найду в этом плоском городе холм, куплю шляпу, дождусь ветра и – механизм взлета я запомнила! – и прилечу...

Встретимся у Пушкина

Значит, тут было важно правильно выбрать время года.

Чтобы на озере, у Дневного кинотеатра, была осень.

А в парке Пушкина – весна.

Лето пусть будет у Ильинского базара, которого нет (но пусть он будет).

Зимы не надо.

И убрать все лишнее – новые дома, новые улицы, машины... Людей тоже убрать. Чтобы было пусто – только деревья.

Деревья оставить.

Солнца тоже не надо: солнце, люди – они помешают моей печали, рассеют туман.

Утро, одиночество, город – владей! Прошлым.

Значит, сесть в троллейбус на Пушкина, близ Садовой и...

Но чтобы не было людей, мы договорились.

А если люди, то...

Не-ет, ну, это сложно. Это тогда надо поднять с постели Анечку (а во Флориде три часа ночи!) и доставить ее, сонную, на пересечение улиц Пушкина и Пирогова. Туда же вернуть весы из 70-х и посадить рядом вечно недовольного дядю Фиму (вынуть из могилы). А на углу Искры и Пушкина поставить Колю Сундеева (из Сан-Франциско) – и пусть он читает свои стихи про косарей (а кто запретит?!).

А вот на Гоголя и угол... забыла, неважно (важно!), поместить Ваню и Борю (это другой Боря) – и пусть он доскажет свою историю, начатую тридцать лет назад, о том, как теща предъявила ему ультиматум: или Боря немедленно вставит стекло в форточку, из которой ей дует, или же она закроет ее Бориной задницей – и все смотрят на Борину задницу, прикидывая – хватит или нет.

И пусть они все стоят по своим местам и радуются тебе, едущей в троллейбусе по кольцу – вот тогда да! Тогда пусть будут и люди.

Но этого не может быть.

Тогда и ничего не надо.

А если все-таки надо?..

Ну, тогда иди к Пушкину: верные городу собираются именно там.

Хочешь увидеть всех разом – ступай в парк.

В 90-е годы там спасали памятник – тем и сами спаслись. Они защищали его – теперь он защищает их. Все по-честному.

Выжили только те, кто прибился к нему.

Для кого-то Пушкин – это классика, а для них – современность, национальная идея, самоидентификация. Пушкин жив! «Встретимся у Пушкина».

И я тоже, конечно, отправлюсь к нему.

...И меня обнимет такое количество друзей, что я до сих пор живу обнятой.

Озеро

«В Израиле есть все, кроме Комсомольского озера».

(поэт Виктор Голков)

– А ты знаешь, что Комсомольского озера больше нет?

– Как это нет? А где оно? Голков забрал?

– Высушили.

– Не может быть!.. Не верю. Как же вы это допустили? Зачем?!

– Стало гнить... Экологическая катастрофа.

Боже мой... Бедный Голков.

Бедные мы.

Ну какой же это Кишинев без Комсомольского озера?!

Так. Озера нет, Дневного кинотеатра нет... А Дрейзлер есть?

– Дрейзлер на месте. Слушай, а давай спустимся к озеру?

Нет! Ни за что. Я не хочу видеть его труп. И даже не хочу знать, что его нет. Вы мне ничего не говорили, ясно?

– А может, оно уже есть? Давай посмотрим. – Улыбка в усы, которых тоже нет.

– Ткач, а где твои усы?

– Продал.

– Пропил, что ли? Ладно, так и быть, спустимся до первой аллеи, но дальше ни шагу. Господи... и сколько же в этих аллеях было свиданий и клятв!..

– И эксгибиционистов.

– Ты все испортила, Алла. Как говорил Полтавец, наплевала на солнце и погасила.

Алла и Ткач – это главные мучители, сладкие мучители, каждой весной посылающие мне в завьюженный Питер благую весть: расцвела сирень (идут невыносимые подробности), вот-вот расцветет абрикос (еще невыносимей!)...

Самое красивое дерево на свете – цветущий абрикос.

Сакура – просто распиаренное дерево.

– Ну давай еще спустимся.

– Нет! Я боюсь. Ну ладно... но только до второй аллеи. Слушай, Ал, я никак не могу вспомнить одно слово. «Пролетела птица – может быть, синица...» – помнишь?..

– Туманно.

– Ну как же? Это были мои любимые твои стихи:

Пролетела птица –

Может быть, синица,

Может быть, ворона

Или воробей...

Я не знаю имени –

Были крылья синими,

А примет особых –

Нету, хоть убей.

Пронеслась – и скрылась!..

О моя бескрылость,

О моя (та-та?-та),

Беспечальный труд...

Но крыла дрожанье,

Но крыла дрожанье

В воздухе держалось несколько минут...

– Вот это «та-та?-та» – какое слово?

– Да не помню я!

– Что значит – не помню? Вспомни. Твои же стихи!..

– А зачем тебе?

– Надо.

– Ну тогда придумай сама что-нибудь. Раз тебе надо. Слушай, давай еще спустимся... а вдруг...

– Нет, ну что вы со мною делаете!.. Как на заклятие. Ну вот зачем я за вами иду... Вспомнила!.. «беспечность»!

– Что – беспечность?!

– Слово это! Я вспомнила! «О моя бескрылость, о моя БЕСПЕЧНОСТЬ, беспечальный труд...» Немудрено, что я забыла это слово. Я сначала забыла это чувство.

А дальше – как удар в солнечное сплетение.

– Что это?! Господи, что это?

– Озеро.

– Как?.. это... озеро?!

На месте озера лежало нечто, поросшее травой, как шерстью – зеленое, мохнатое, но живое...

– Да это какое-то чудовище из сказки «Аленький цветочек»!

– Но мы же знаем, что на самом деле это заколдованный принц. И если его поцеловать...

– Нет, Ткач, я его не поцелую.

– И я, – говорит Алла. – Пусть приедет Голков и поцелует его.

По Пушкина вниз

– Ну вот ты и побывала в Кишиневе!

– Нет, нет, это не считается. Я не видела Дрейзлера, я не поцеловала озеро... Я ничего не успела, кроме того, как прочесть на белой стене: «Света дура».

Но я не за тем ехала, чтобы читать эту белую скрижаль.

– Но ты был совершенно прав, конечно, это уже совсем другой город. И я теперь знаю это. Моего города нет, и, значит, он перестанет мне сниться.

...И тут снова подул ветер, вспорхнули листья, обласкали мое лицо, и кто-то бережно взял меня за руку и повел по улице – по Пушкина вниз, по Пушкина вниз...

В поисках прошлогоднего снега и прошлогодних дураков

Раз в год, в поисках прошлогоднего снега и прошлогодних дураков, Саша прибывает в Питер и звонит в нашу дверь. И каждый раз – еще до возгласа, до объятия! – я успеваю подумать, что представляла его иначе.

Не то чтобы выше ростом или ниже, темнее цветом волос или светлее, хуже или лучше – нет... просто иначе.

Собственно, ведь мы все так дружим: не с людьми, а с представлениями о них. Душе это удобно. Даже если эти люди и наши представления о них ходят по разным улицам. И эти представления нам дороги, как собаке кость – попробуй, отними. Чай, укусим.

Итак, целый год я представляю Сашу. И представляю это так: красивые, красивые улицы, по которым идет красивый, красивый Саша и обдумывает свои красивые по форме и содержанию мысли, а навстречу ему идут красивые люди (если, конечно, это не пираньи Ковальские, надулившие нас всех скопом!) и

улыбаются...

И однажды раздается звонок из Страны тюльпанов: в пятницу буду в Питере. (Неужели просвистел год?!)

Как хорошо, Саша!.. И мы будем с тобой говорить, говорить!..

– О чем?

О главном, Саша. О счастье.

– О счастье?! – пугается Саша. – Ты с ума сошла. Да я не знаю, что это такое. Хотя, погоди, знал... вот точно помню, что знал. Но забыл.

Придется вспомнить, Саша. Потому что если люди встречаются раз в сто лет, то для того, чтобы говорить о счастье. А о чем еще говорить?

Ожидание Саши начинается с предчувствия, с горькой догадки, что все, конечно, будет не то, не так и не о том. Что кончится все тем самым знакомым послевкусием – не о том говорили, не о том спросили, не туда пошли...

Что ни сделаешь, все будет ошибкой.

Однажды, много лет назад, случай свел Сашу с художником из Питера. И художник, сидя у него в гостях, не знал, о чем говорить с Сашей. Саша любезно делал то же самое. Ну о чем говорить с художником, картин которого ты не видел, и с писателем, книг которого ты не читал? Потом все же поговорили о книгах, которые все читали, и о картинах, которые все видели. Наконец художник сказал:

– Слушай, дай мне почитать что-нибудь свое.

Предложение – всегда приятное сердцу писателя, но чреватое. И Саша замялся.

– Видишь ли, дело в том, что я пишу... ну, в общем, не для всех.

– Ну, и я рисую не для всех! – удивился художник.

С тех пор в доме Саши висят на стенах картины художника, а в доме художника лежат открытыми книги Саши.

И вот Саша приезжает в Питер и звонит в нашу дверь.

– Ну, – говорит он с порога. – Давай говорить о главном.

– Давай.

– Начинай.

И мы молчим.

– Ты какое вино будешь? – вовремя возникает художник.

И тут Саша вспоминает, как они пили с друзьями вино на берегу океана, закусывали сыром и как им было всем хорошо – с вином, сыром и океаном...

– Ну, с сыром и вином везде будет хорошо, – замечает художник.

– Кстати, о сыре... – Я подхватываю на лету тему сыра.

Всякий раз, когда я нарезаю сыр или лимон, незримо является Аля (и ей это идет – являться именно незримо) и говорит свою коронную фразу: «Какие могут быть проблемы в жизни, если есть сыр и лимон?»

Али давно уже нет в моем жизненном пространстве, а вот фраза о спасительных лимонах и сыре осталась – без всякого разрешения на то. А еще фраза о прошлогодних дураках-пассеистах.

Значит, мы пьем с Сашей вино вприкуску с сыром и прочей снедью и говорим тоже о прочем – тянем, притворяемся, Саша ждет, что я задам вопрос, и я

понимаю, что он неизбежен, но я не знаю, как его задать и нужно ли – догадываюсь, что нужно, а может, и не нужно, и мы тянем-потянем, вытянуть не можем, а чего тянуть-то? – и я говорю:

– Ну, а Ольга?..

– Я даже не хочу об этом говорить! – отрезает Саша.

И говорит только об этом. Весь вечер. Ощущение, что я это уже читала. Что-то из классики, где автор все-все знал – и про Сашу, и про Ольгу, и даже про Сашину тещу.

– А кто он? Этот голландец?

И Саша вдруг веселится.

– Представляешь, Ольга – библиотекарь, теща – библиотекарь и бойфренд этот чертов – тоже библиотекарь! Это просто какой-то заговор библиотекарей.

– Против писателя!

И освежившись смехом, мы идем вон из дома, душа летит, как бабочка из кокона, – туда, где белая ночь, где, как в детстве, душа неслась вскачь...

И тут последует рассказ Саши о том, как в прошлый приезд он бродил по Михайловскому саду, разглядывая людей и надеясь увидеть знакомое лицо, юное и прекрасное, и тут к нему подходит какой-то пожилой инвалид и говорит:

– Саша, это ты?..

Мы смеемся и заходим в маленькое кафе, рассаживаемся на веранде и чувствуем, что пора. Пора поговорить о главном.

– Ну, как ты там?

– Как, как... что ты хочешь услышать?

– Главное. У тебя там есть чувство дома?

– У меня там есть чувство квартиры.

– А язык знаешь? Чувство языка есть?

– Есть чувство алфавита.

И тут подходит официант, и мы заказываем кофе с молоком и... песочное кольцо.

А собственно, Саша и приехал в Питер, чтобы именно съесть песочное кольцо.

О, песочное кольцо!..

– Я даже не знаю, о чем с тобой говорить, если ты не помнишь вкус песочного кольца!

И тут идут подробности, прекрасные подробности: сверху, значит, орешки, тесто было твердое, но рассыпчатое, с привкусом соды, это важно, и, вступая во рту в сложные отношения с молоком, создавало тот самый, о, тот самый неповторимый вкус!.. И к этому надо добавить запах институтского буфета, салфетки из нарезанной бумаги, чтобы представить – какое при этом было чувство.

То есть Саша, вопреки и несмотря на, решил вступить в реку дважды.

И вот наступает этот торжественный момент.

Саша и художник, священнодействуя, откусывают песочное колечко, жуют, запивают холодным молоком – и смотрят друг на друга (я присутствую зрителем на этой трагедии).

– Нет, – говорит Саша, горько качая головой. – Это совсем не то песочное кольцо.

Милый Саша! Конечно, не то: то ты съел, Саша, тридцать лет назад. Вынь ноги из реки, застудишь.

– Черт, – с досадой скажет Саша. – Ни одного знакомого лица! Не питерские какие-то лица... А где питерцы-то?

– Там же, где и ты, надо думать.

А в конце мы поссоримся, причем, как раньше, из-за какой-то книги, и тут же наметится разлад между Сашей и его образом (образ перейдет на другую улицу), и не хватит каких-то слов, а какие-то явно будут лишними, и мечты столкнутся с действительностью – здесь же, прямо в Михайловском саду, и потерпят, как водится, поражение...

И Саша уедет – туда, где чувство квартиры, и я опять буду мучиться, что встреча прошла, как всегда, под знаком «не то, не так и не о том», и наступит зима, как конец жизни, а потом станут приходить письма, редкие и длинные, и образ Саши вновь изменит облик, совпадет с моими представлениями о нем, и опять по зову весны проклюнется что-то живое и захочется вернуться назад, где все было неправильно, и поступить правильно... Ведь сказано же: «Прошлое – это родина души человека».

И посему через год Саша опять приедет в Питер в поисках прошлогоднего снега и прошлогодних дураков и позвонит в нашу дверь.

Советские мужчины были лучше

Советские мужчины были лучше. У них было очень много свободного времени в их бесчисленных НИИ и конструкторских бюро, а свободное время располагало к мечтательности, стихам и всяким крамольным мыслям, которые так нравились девушкам.

Советские девушки были лучше: им нравились эти советские мужчины.

Советские редакции газет, радио и телевидения были лучше!.. О, эти бесконечные чаепития, сплетни, ор и слезы, смех и шум, толкотня и все такое прочее, веселое и прелестное, что потом растворилось в могильной тишине

редакций новых времен, где люди рядами, как зомби, молча смотрят в компьютер, оставляя болезненное недоумение – это как же в редакции может стоять тишина?

В редакции не может быть тишины.

Советские журналисты были лучше. Они наполняли эфир хорошо поставленными голосами и исключительно хорошими новостями – скучными, конечно (и тайная ересь лишь только в скуке!), но зато за кадром было очень весело. Весело, молодо, шумно...

А дальше – тишина...

Значит, рассказывают так: в чрезвычайно сильном подпитии и сверкании генеральского мундира корреспондент республиканского комитета по телерадиовещанию Володя Драган ворвался в Зал заседаний, где как раз заседал Наблюдательный совет, и приказал всем встать, когда генерал к ним обращается!

Все не сразу признали в грозном генерале Вовчика и в связи с этим, быть может, даже испугались, не знаю. А может быть, даже и встали (и этого впоследствии не простили!). А может, наоборот, от страха прилипли к стульям (а выглядело, как будто не испугались!). Так или иначе, но то, что все обалдели, это абсолютно точно.

А генералу было что сообщить высокому собранию. И он сообщил. А именно: что собравшиеся здесь – все без исключения, во главе с Председателем! – ни хрена не смыслят ни в радио, ни в телевидении, ни вообще!..

Между прочим, сказал правду.

Ее многие желали сказать. Но не всем хватило духу. А Драгану хватило – духу у него этого всегда было немерено.

В общем, сказал правду, но кто любит правду?

Разумеется, его уволили.

Причем уволили с треском, на образцово-показательном собрании работников радио и телевидения, на котором генерал, кстати, не присутствовал – закусывал где-то.

А закусив, явился к Председателю.

Но это уже ближе к концу история, а начать ее надо с того, что в генералы журналиста Драгана произвело казачье войско, в 90-е годы это было легко – было бы желание, горилка да казачий дух. А у Драгана все это было с лихвой.

Нет, пожалуй, рассказ надо начать еще раньше...

Быть может, со свадьбы Нины и Бука.

Брак был фиктивный.

Зато свадьба вышла настоящей!

Шампанское начали пить, как положено у добрых людей, еще в загсе, продолжили в такси и на улице – и все это провоцировало на безудержный смех, блестящее остроумие и всякие подвиги – ну кто не испытал этой агонии молодости, кто не испил из этой чаши любви!..

Драган, кстати сказать, пил из нее всю жизнь. Так и не сумев превозмочь ее сладкие чары.

И вот, если сопоставлять факты и время, то как-то так выходит, что именно после того свадебного кутежа у Нины и Бука, после той, по сути, ненастоящей свадьбы Драган как бы сладко тронулся умом в сторону утех, то есть полюбил свадьбы. И чужие, и собственные.

Женился часто, легко, невесты были все в его вкусе – пышнотелые, веселые, румяные, можно сказать, все на одно лицо – ну разницы никакой! Значит, дело было в самой свадьбе, надо думать, в самом веселье, гульбе. И гульба шла

всегда по всем правилам, то есть море гостей, тосты и все такое прочее.

Но была в женихе всегда какая-то печаль, какая-то неудовлетворенность, что ли, – то ли самой организацией свадеб, то ли еще что – ну вот не то что-то, а что именно – бог его знает. Иначе как же объяснить, что время спустя поступали новые приглашения – и гуляли новые свадьбы, и опять невеста – как сестра-близнец предыдущей!..

А вот у Бука и Нины свадеб больше не было. И никто не сказал им, что та была их единственная свадьба и больше не будет. «Ну, давайте, дети, еще раз!» – нет, такого им не сказали.

И потом пришли 90-е. И все дружно сошли с ума.

Грянула свобода, и умные люди быстренько стали ставить высокие заборы, крепкие ворота и кодовые замки – в общем, стали крепче запирают двери, а Драган что сделал – а Драган рванул в Запорожье: зов предков не пустые слова. Там и стал генералом. А что? Высокий, статный, резкий, правду-матку так и рубит с плеча – генерал, да и только.

– И быть тебе генералом! – порешил атаман.

Сказано – сделано.

И на Драгана – человека, казалось бы, с чувством юмора! – тем не менее это произвело неотразимое впечатление, он вдруг понял, что, собственно, все к этому и шло. Генерал Драган. Звучит.

Заказал форму. Тоже легко. Форма шла ему безумно. И в чине генерала Вовчик вернулся назад. И пошли уже генеральские свадьбы.

...А вот Нина умерла.

Вместе со своим временем. Время кончилось, и Нина кончилась, не сумев вписаться в его разворот.

Жизнь любого человека – это, в сущности, древнегреческая трагедия, потому что кончается смертью.

Нина умерла, но от нас не ушла. Мы часто говорим о ней с Буком, как никогда не говорили при ее жизни. Тихая Нина удивилась бы такому вниманию с нашей стороны.

Иногда я думаю: а почему Нина приходит во сне именно ко мне и к Буку?

Ответ, наверное, один: а к кому хочет, к тому и приходит.

Жизнь человека делится на три периода.

В детстве мы ходим на дни рождения, в юности – на свадьбы, в зрелости – на похороны.

Третий период неожиданно вклинился во второй – то есть еще лето, а листья стали уже опадать, ранняя осень.

Первыми приняли смерть на себя наши мальчики-операторы. Причем почти все пали в бою на одном участке фронта – по дороге от кафешантана к студии и обратно.

Но, надо сказать честно, они туда бегали всегда, называя эту стекляшку кафешайтаном (что более отвечало злым чарам данного заведения), а вот в 90-е годы они оттуда не выходили.

Хоронили одного за другим, ну буквально через запятую... Красивых, молодых, слабых, любимых...

Потом подтянулись и другие профессии.

А теперь – к концу сказа о генерале Драгане.

Значит, закусив, он, уже уволенный, вновь явился к Председателю, и явление Драгана выглядело так: устрашающий генеральский мундир, ремень с кобурой, дверь сапогом!

Что там было – неизвестно, но слухи ходили, что казачий генерал пригрозил Председателю пистолетом, типа при желании я могу тебя сейчас пристрелить (а желание было!) – и потянулся рукой к кобуре.

А поскольку до этого он где-то в компании выпивал и закусывал, то наверняка у него там был кислый огурец, говорил народ, но в руках Драгана этот кислый огурец мог бы запросто выстрелить и поразить Председателя.

Утешился Драган в следующей свадьбе. Но, увы, ненадолго...

– Он, как меня встречал, сразу же нашу с Ниной свадьбу вспоминал... – рассказывал всем Бук. – Не бывал, говорит, я на более веселой свадьбе!..

И какая-то неизжитая тоска была в постоянстве этой фразы.

И получалось так, что генерал упорно пытался вступить в реку дважды (трижды, четырежды!..) – вопреки и несмотря на. В ту игру. В ту свадьбу, где радость была чистой, без примесей идущих за ней будней, – вот такой именно свадьбы ему, быть может, не хватило, и он пожизненно ее ждал.

А может, ему не хватило самой Нины? Белой невесты Нины, вечной невесты Нины, ничьей Нины, хотя нравились ему совсем, ну совсем другие – что Нина? Хрупкий опавший цвет...

А может, ему просто не хватило той беспечности, когда можно было просто так, без дела, шататься по улицам и на вопрос встречного – ты куда? – бездумно ответить:

– Да так...

Непозволительная роскошь впоследствии...

До последней минуты жизни генерал женился. В буквальном смысле – до последней: умер Драган в день своей свадьбы.

Утром расписался, пришел с молодой женой и друзьями домой, сел за стол, поднял бокал, выпил за любовь и умер. Инфаркт.

Хорошая жизнь. Достойная смерть. Погулял, пожил, правду сказал, до последней минуты любил. Нет-нет, хорошая жизнь.

А пистолет, кстати, у него все же был. Настоящий, с памятной надписью от казачьего атамана.

...Каждый год, начиная с марта, в Питер регулярно идут подробные сводки с далеких фронтов весны: город взяли яблони, на подходе черешня и абрикос, город просто погребен под цветением – сообщают мне личные корреспонденты, заставляя мучиться и чаще биться мое сердце... Но вот зачем мне это, спрашивается?

Но проходит год, и я снова жду писем от своих мучителей...

Приходят письма и от Бука, в которых живут, не умирая, Нина, генерал Драган и мальчики, все бегущие к своей смерти в кафешайтан...

Одно из писем начиналось хорошей новостью: Гоголь жив!

«Я думаю, что Драган и его свадьбы – это гоголевский сюжет, выхлоп в современность вольного казачьего духа, который рассеялся по всей близлежащей округе после упразднения Запорожской Сечи...»

А далее вновь сладкая мука: «У нас уже началось абрикосово-персиковое лето... И пышнотелые ягоды шелковицы из центрального парка зовут тебя в гости... Но ты не слышишь их зов, совсем потерялась в белых ночах...»

И напоследок предостережение: «Персики у молдаван покупай, пожалуйста, с осторожностью. Так как продают они турецкие персики. Даже в Кишиневе».

Сделайте мне, как было

...Одна маленькая девочка, которой сделали в больнице пробы на аллергию, взглянув на разрез нежной кожи, на ущерб, – и категорически не согласившись с ним! – заплакала и сказала:

– Сделайте мне, как было!

То есть как было до! До раны, до враждебного вмешательства извне, а было хорошо: цело, гладко и не больно.

Собственно, все наши попытки вернуть прошлое сводятся к этой детской наивности: сделайте мне, как было. А было, оказывается, замечательно. А мы и не знали этого.

– Ты мне нужен!.. – говорит она моему мужу, рыдает, и голова ее падает на его плечо. (Плечи мужчин вообще предназначены для женских слез, жизненное наблюдение.)

– Таня, Танечка...

– Мы купим домик в деревне и будем жить там только вдвоем!..

Последнее ставит моего мужа в тупик. Как вдвоем? А дети, моя жена, Жан?

– Я так одинока, ты просто не представляешь, как я одинока, у меня никого нет...

Это опять ставит его в тупик. Мужчина в тупике.

– Ну как же это «никого», Таня? А муж, а дочка?

– Но мне нужен ты! – говорит Таня.

«А спроси меня, что нужно мне! – думает он. – Неужели неинтересно?»

Нет. По правде говоря, нет. Честно, нет. Неинтересно.

Мой муж, значит, застревает в тупике, но хочет выбраться.

– А как же твой муж? Жан?..

– При чем тут Жан!..

– Ну как это при чем?..

– Жан целыми днями на работе.

– Да я тоже!.. А потом... у меня же сын!

– У тебя чудесный сын, – соглашается Таня.

Заметим, мой муж Сева упоминает только о сыне – это корректность: он щадит Таню, не упоминая о жене, – заботится о слабых нервах Тани, благородно, правда?

– Ну ты же все понимаешь... – говорит он потом жене.

Конечно. Я все понимаю. Как и Сева, кстати, который однажды стал очевидцем аварии, и водитель, выскочив из машины, стал объяснять почему-то именно Севе (у Севы такое лицо), как это у него получилось, крича при этом: ты понимаешь? Нет, ну ты меня понимаешь, мужик?!

Понимаю, думал Сева. И с грустью вослед: а на фиг я тебя понимаю?..

Потому что это очень тяжело – понимать. Накладно. Понимать – это значит разделять, сострадать и даже, не дай бог, что-то делать. Нет, удобней не понимать.

– Ну ты же все понимаешь... – значит, говорит мне муж.

Разумеется. Я тебя понимаю. (А на фиг я тебя понимаю?!)

– Она в безвыходном положении, – на всякий случай добавляет муж.

Давно замечено, сколько благ несет людям их безвыходное положение. Если они соображают, конечно, как им пользоваться. А Таня, как видно, соображает.

– Я совершенно одна, – значит, говорит Таня моему мужу. – Меня никто не понимает, даже психиатр!.. Он орет на меня, представляешь?

– Это что за идиот? Найди другого психиатра.

– Другого нет.

– Что, один психиатр на весь Канзас?

– Нет, но...

– А может, у него такая методика?

– Может.

Влюбленный человек, как больной, вызывает сочувствие: хочется помочь, предложить испробовать народные средства.

– Слушай, Таня, психиатр психиатром, но, может, лучше нырнуть там в прорубь...

– В смысле? – оторопев, смотрит Таня.

– Ну... это... для закалки органа. В баньке попариться там, или что...

– Ты приедешь ко мне?

С темы не сбить: хитрость безумных известна.

– Приедешь?.. Я люблю тебя.

Нет, на самом деле Таня любит себя – свою фобию, диету, слабое здоровье, свои печали и ошибки – вещи настолько самоценные, что их должны полюбить, конечно же, все, это не обсуждается. Формула любви Тани такова: с Петей она любила Колю, с Васей – Петю, с Ваней – Васю, любовь с вывернутой назад шеей. То есть Таня любит потери. Очередь дошла и до Севы: вот здесь он ходил по аллее и думал о ней (но тогда она любила Ваню) – и Таня полюбила эту аллею и прошлогодний снег. В общем, сделайте мне, как было.

Вообще, нелюбящие нас – они ведь очень интересны, они загадочны и сложны. О чем-то думают... О чем ты думаешь, Сева?

О чем, о чем... Картер в машине менять надо.

Сложные мужчины сложны тем, что не любят, вот и вся сложность.

У мужчин есть свой способ, как расстаться с женщиной: надо на нее обидеться. Обидеться и уйти. Гордо так и обиженно. Женщина сдуру бежит следом – «О, вопль женщин всех времен: мой милый, что тебе я сделала?!».

А еще есть онегинский способ: «Напрасны ваши совершенства: их вовсе недостоин я». (Конечно, недостоин!)

Все эти способы просты, легки... и некрасивы, Сева ими брезгует. И согласен поговорить: женщины любят это – «поговорить». Путь тупиковый, потому что после «поговорить» остается все равно одно: обидеться и бежать. «Мой милый, что тебе я сделала?»

Таня в свое время в поисках счастья улетела в Канзас, оставив Севу, как тот бронепоезд, стоять «на западном пути». Там, в Канзасе, посреди кукурузного поля, красовался фанерный домик Жана; в этих местах, говорят, у всех фанерные домики – и в бурю они летают, как фургончик Элли Смит (то есть автор «Волшебника Изумрудного города» ничего не выдумал!). Кстати, на языке индейцев Канзас означает «Люди южного ветра».

И вот там, с человеком южного ветра, Таня полюбила Севу. (Читай выше формулу любви Тани.)

Теперь она вернулась назад, и оказалось, что бронепоезд Сева давно тю-тю. Таня глядела на пустые рельсы и не верила очевидному. Как же так? Честный Сева поступил нечестно: обещал любить вечно и слово не сдержал.

«Я обещал? Когда?..»

(Обещал, обещал! – все обещают, не надо стесняться.)

И Таня желала продолжить разговор о большой Севиной любви к ней. Потому что все, что случилось у Севы без нее, было, конечно же, ненастоящим, а настоящим было только ТО, с Таней. В общем, сделайте мне, как было. До кукурузного поля.

«Вчера еще в глаза глядел, а нынче – все косится в сторону!..» – любой женщине смириться с этим невозможно, правда? Но в Танином случае правильнее было бы уточнить: десять лет назад – «еще в глаза глядел, а нынче...».

– Танечка, ты очень милый человечек, но...

Никаких «но». И к делу подключается мама Тани – Вера, жена композитора Артема Соболева.

– Можно Севу Михайлова? – обычно спрашивает Вера по телефону, нарвавшись на жену. Как будто в общежитие звонит.

«Ща», – очень хотелось ответить жене. Но перевозмогала.

– Севы сейчас нет, что передать?

– Передайте, что звонил Артем Соболев, – говорила Вера.

Вот как!

– Хорошо, Артем Соболев, – отвечала жена Вере.

– Мне нужен только ты!.. – значит, говорит она моему мужу.

А в это время жена мужа (я) тоже встречает белые ночи со своим бывшим мужем, его нынешней женой и детьми, потому что белые ночи в нашей жизни – это фатум: в эту прекрасную пору десанты бывших мужей, жен и возлюбленных, с разных концов планеты, высаживаются на берегах Невы – глядеть на эти белые ночи. Повод почтенный, культурный, против него не попрешь. Летят восторгаться, вздыхать и – поговорить.

Говорим.

– А помнишь, как Севка пошел спать, а мы поехали с тобой в казино...

Я смотрю на детей моего экс-мужа и что-то все время мешает мне сосредоточиться, сформулировать главную мысль.

– ...и я загадал тогда: изменишь ты Севке или нет.

– Изменить спящему беззащитному Севочке?! Ты с ума сошел. За кого ты меня принимаешь, я честная женщина.

Малые дети дубасят друг друга по головам, выкручивают руки и говорят непристойности... А! Вот и эта главная мысль! Формулирую: эти дети могли быть моими. И с благодарностью небу: Боже, велика Твоя милость!..

– А почему вы развелись, кстати? – спрашивает мать этих чудных детей.

– Нас развело время, – отвечает ее муж.

Это правда.

Время, судьба, история – гнались следом. С целью догнать и прикончить. Мы разбежались в разные стороны, как два зайца, рассредоточились, как это грамотно делается в погоне – сбить с толку, запутать следы. Одного поймают – другой спасется. Спасенный вытащит другого. Такова была стратегия. Но вот спаслись оба. И все хорошо: новые семьи, дети... И не надо, как было.

Честно говоря, эта встреча – лишняя. Нет, первые пятнадцать минут были очаровательными. Остальные восемь часов – из серии «не надо было».

А может, и надо было: убедиться еще раз, что все было правильно. И жалеть не о чем.

А вечером мы принимаем у себя Таню и Веру. Вера – это которая Артем Соболев, девочка 65 лет, заигравшаяся в этом образе. Пока Таня в гостиной плачет на плечах моего мужа, Вера весело рассказывает мне про брачный период у жаб. Этой историей она развлекала меня и в прошлую встречу, то есть пять лет назад. За пять лет, видимо, ничего интереснее в ее жизни не случилось.

Две подружки, мать и дочь, две заговорщицы, две жертвы идеи фикс.

Я готовлю кофе и думаю мысль: любопытно, за кого эти девочки меня принимают?

И что, кстати, сейчас делает рыжеволосый Жан, человек южного ветра?..

Жана я видела лишь на кассете, снятой Севой в один из приездов всего семейства в мое отсутствие. И сразу поняла: это Жан. Стройный, изящный, красивый... и какой-то растерянный. Гости в кадре осматривают достопримечательности, но ощущение, что страшно далеки они в мыслях от шедевров архитектуры, включая Веру и Артема Соболева (настоящего). Однако дальше всех Жан: он не понимает язык, не понимает происходящего, не понимает Таню, которая сомнамбулой бродит в пространстве, высматривая бронепоезд. А бронепоезд Сева прячется от всех за камерой. Готовый фильм с открытым финалом.

Сегодня я играю в нем роль гостеприимной хозяйки дома.

– Таня, а вы приезжайте к нам, – вежливо предлагаю я.

– Нет... Я так не могу! – неожиданно отвечает Таня.

Что «не могу»? О чем это она подумала? Может, о том, что я ей сделала непристойное предложение?.. Перехожу на более безопасную тему – достопримечательности Северной столицы, и Таня ждет, когда я закончу, чтобы продолжить свой монолог про главное: про себя.

– А Тане не интересно знать, что обо всем этом думаю я? – мимоходом спрашиваю мужа.

– Тане даже неинтересно, что думаю я, – отвечает Сева.

А теперь можно вспомнить того орущего на Таню психиатра и отнести к нему с пониманием.

– Что-то я устал от этих белых ночей... – проводив заговорщиц, говорит муж. – Что ты молчишь?

– Я думаю о том, на чьих плечах сейчас рыдает рыжеволосый красавец Жан. И не унес ли его домик южный ветер в другую сказку?..

Что-то мне говорит, что скоро Таня полюбит Жана.

«Свет мой, зеркальце! Скажи...»

Что-то неладное творилось с мужчинами этого дома: бежали. Как кассиры в рассказах Чехова: «Опять кассир побежал...»

Сначала дядя Толя. Тихий такой, застенчивый... А сбежал. И от кого – от тети Раи! Герой-баба была – ора-ала!.. Дооралась, в общем. С одной стороны, оно и понятно: от такой сбежишь. С другой стороны – и как не убоялся? Страшно ведь. А ну как догонит?

Потом дядя Федя. Тоже – послушный, покладистый. Сбежал, короче. К другой. Как и дядя Толя.

Война любви уносила отцов нашего дома, как смерч. Ну просто косила.

Дальше всех убежал дядя Леня: надел противогаз, взял пистолет и был таков. (Почему противогаз? Зачем противогаз? Не знамо. Но сказано: противогаз.) Так и нашли его в кабинете – в военной форме и в противогазе. С посмертной запиской – как полагается, дисциплинированно: «В смерти моей прошу никого не винить».

Волю покойного уважили, никого не винили, но на тетю Клаву косились. И чем дальше – пуще: после дяди Лени тетя Клава похоронит еще пятерых мужей, а может, и больше: соседи со счета сбились, никогда не знали при встрече с ней – что надо: поздравлять или уже соболезновать. А главное, сама из себя вся такая заме-едленная, чуть живая, а замуж выходить и хоронить – так это быстро, шустро.

(...И чем она всех обольщала, что обещала, каким снадобьем угощала, что не страшно им было, бесстрашным, похоронного свитка вдовы?..)

Тетя Рая орать перестала. Раньше, бывало, идешь мимо, а ор из окон летит – не приведи господи. Как ошпаренные выбегают из подъезда дядя Толя и дети – круглый Миша и Танечка. А теперь ти-ихо стало в их окнах: не на кого было

орать, никто не раздражал тетю Раю, даже дети. Ушла в себя и обратно не возвращалась. Люди жалели ее – почему не жалеть? А дяде Толе дивились, – а как не дивиться? С чертями оказался дядя Толя. Тополь наш.

А тополя сажали всем миром. «Тополя-я, тополя-я...» По теме было. Дядя Толя руководил. Все сажали – и тетя Клава – Синяя Борода, и вечно умирающая тетя Муза («Муза плохо выглядит!»), и дядя Толя-бегун, и дядя Леня в противогазе... (Вот все никак не вспомнить его лица – только в противогазе. И вольно же было ему так пошутить напоследок!.. Неуместная шутка. И троих детей оставить – Гену, Сережу и Валика. Валик – совсем крохотный, нежный такой, мальчик-с-пальчик.)

Соседки получили урок – три урока кряду! – зорче стали следить за мужьями, да разве уследишь? Опять кассир побежал...

...И куда они все убегали? – вот загадка. Какие сирены шептали им, что где-то есть счастье, что оно не обманет?.. Глупышки. Ведь было ж сказано им, дуракам: «На свете счастья нет...» Нет – что не ясно?.. И где они все оседали? – вот в чем вопрос! Быть может, был остров, где жили мужчины – ходили с копьем, разводили костры – «мы рубили лес, мы копали рвы...» – и туда сбегались их братья, обретая покой и волю? Кто знает...

Семейный портрет в интерьере в стиле ретро: тетя Тоня сидит в новом кресле (ГДР), курит «Беломор» и рассказывает, какая Федя сволочь. Как сыр в масле катался!.. И двух детей сиротами оставить!.. Сиротки сидят тут же и смотрятся рядом, как принц и нищий: на Ксане – наряды, на Ксане – серебро и золото, на Ольге – фиг без мака: тетя Тоня на манер короля Лира (о, классика пугающе вечна!) одаривает только верных, ласковых и послушных. Ксана ласкова, медоточива, но натуральны только ее бриллианты.

«Скажите, дочери, мне, кто из вас нас любит больше, чтобы при разделе могли мы нашу щедрость проявить в прямом согласье с вашей заслугой...»

Ксана: «Моей любви не выразить словами, вы мне милей, чем воздух, свет очей!..»

Ольга: «Я вас люблю, как долг велит».

Лир, то бишь тетя Тоня: «Вот и бери ты эту прямоту в приданое. Ступай! Прочь с глаз моих!»

А только и был грех, что съездила Ольга тайно к отцу на свидание. Папа пожелал увидеть деток. Папа соскучился. Узнаю – прокляну! – был сказ. Ольга послушалась (Федина кровь!), съездила – увидеть, поплакать, спросить: папа?

А что – папа? Папа тоже человек. Детей жалко, кто спорит. А себя не жалко? Дяде Феде было жалко. В общем, свиделись. Поговорили, поплакали. А тетя Тоня слово сдержала: прокляла. Ксана тоже не замешкалась плюнуть в сестру – и была награждена за это по-царски.

Двойной портрет на пленэре: мы сидим на дереве, два неспелых плода – Ксана в синем пальто, я в красном, нам по тринадцать лет... Ксана – две косы, изящные линии рта, век – красавица, в общем. Не умница, но это неважно: главное, красавица. Болтает ногами, достает из кармашка зеркальце: «Свет мой, зеркальце! Скажи...» Зеркальце в восторге от ее новых сережек: «Ты прекрасна, спору нет!...»

...О, если бы зеркальце было и вправду волшебным, предвещающим судьбу, – что бы тогда могла увидеть в нем красавица Ксана?

Борю. Боря тоже сидит на дереве и смотрит в Ксанино окно. Он будет сидеть на этом дереве с пятого по десятый класс, пока не высидит Ксану. Свадьба. Боря счастлив, влюблен. Ксана тоже влюблена – в свое белое платье, зеркало, колечко с бриллиантами – больше ничто не дано ей будет на этом свете любить, ни одна страсть не нарушит ее сердечного ритма. Впрочем... Но не время еще, молчок.

А жизнь идет, растут тополя, тетя Клава замуж выходит, а тетя Муза совсем плоха, здоровье ни к черту. «Муза долго не протянет». Как угорелый носится дядя Ваня – магазины, аптеки, больницы – хороший муж дядя Ваня, не кассир. Соседки вздыхают: хоть бы Муза еще протянула, чтобы сын Сашечка в школу пошел... И соседки загодя жалеют сиротку Сашечку.

А в доме событие: Тонечка! Пухлый кудрявый персик, последняя страсть бабы Тони. Гуси, гуси, га-га-га!.. тридцать три богатыря... из-за леса, из-за гор едет дедушка Егор... Нет, вот про дедушку не надо, дедушка не едет, а бабе Тоне уже вредно курить.

Ну какие еще новости?.. У Ксаны шуба, еще шуба, бриллианты, еще бриллианты – это страсть, это серьезно. Ну еще институт, аспирантура, селекция, но это несерьезно – так, для шика. Главное, конечно, бриллианты. Головная боль соседей: откуда деньги у Тони? Ну откуда? У советской пенсионерки-то? Мрачные ходят легенды: время тяжелое, смутное, хозяйка прячет шкатулку, зарывает клад... Клад исчезает, молоденькая домработница Тоня плачет: какая шкатулка, хозяйка? Да вы что? Знать ничего не знаю, ведать не ведаю. Хозяйка вешается на косе. (Как это – на косе? Почему на косе? Потому. Сказано: на косе. Бред какой-то!.. Так люди говорят. Люди чушь говорят. А откуда деньги? Откуда? А главное, грех-то какой! Вот и Федор сбежал. То ли еще будет!)

А Тонечка – прелесть, капризный, обидчивый персик, кудря-авая! – в Борю. Боря – вечно в трусах и с книгой. Ксана – колечко, еще колечко, денег ни копейки, а вот горностаи! Мамочка подарила. Царский подарок, красиво. Красиво – и все? И тогда достается шкатулочка... Та самая? Конечно же, нет, та – в тайнике, зарыта, и стерегут ее злые гномы, это – другая. Ах, другая – ну, это неинтересно. Ксана не верит: подозревает (сла-адко так подозревает!) в зависти. Должны завидовать, а как же?

– А откуда такие деньги, Антонина Никифоровна? – не выдерживают слабонервные.

– Жить надо уметь, – отвечает тетя Тоня.

А высокомерие-то, высокомерие!.. И Ксана такая же – вся в мать!

Вся, да не вся: тут манеры – там манерничанье, тут гордыня – там ужимки. Оригинал и пародия. Да и живее как-то тетя Тоня, побогаче словом, страстями.

И все шло бы себе как шло, да вдруг – как гром среди ясного неба! – опять кассир побежал!..

Какой кассир?..

Боря.

Боря? Не может быть. Боря!

Семейная картинка в интерьере: Боря в трусах мечется по квартире – что-то прячет. Положит в стол, зароеет, сядет – не сидится. Подбежит обратно к столу, вынет, переложит между книг. Опять беспокойно: куда бы еще, поукромней?.. Тетя Тоня с Ксаной целый вечер зорко следят за манипуляциями Бори, пока это занятие вконец не наскучивает обеим. Тогда они встают и на глазах помертвевшего Бори вынимают из очередного его тайничка фотографию. Смотрят: девица.

Кто это, Боря?

Боря – белый! – не знает.

А если подумать, Боря?

– Это любовница моего друга, – отвечает повредившийся в уме Боря.

Трогательно. И умно.

Значит, вот оно как: измена! А измен, как известно, тетя Тоня не прощала. Дочь родную, Ольгу, не пожалела, а уж его-то, козла вонючего!..

Дальше следует изгнание Бори. С сопроводительным текстом, очень выразительным по форме и содержанию. Оплеванный с головы до пят Боря пытается на ходу собрать свои вещи – это какие же, интересно, с в о и?! Голодранец несчастный, иждивенец, альфонс!.. Почему – иждивенец? Он работал, зарплату в дом приносил! Ка-акую зарплату?! Инженеришко драный!

Боря вцепляется в магнитофон – Боря желает уйти с музыкой! – отдирают с ногтями. Дверь открывают, ногой поддают – будь здоров, Боря, не кашляй.

Портрет в интерьере: тетя Тоня сидит в новом кресле (Югославия), курит «Беломор» и рассказывает, какая Боря сволочь. Как сыр в масле!.. Черную икру,

гад, вот такими ложками жрал!.. Ну ничего, воздастся ему по заслугам: глаз у нее, у Тони, тяже-елый, сама бывает не рада, но уж коль проклянет!..

Да, удивил всех Борис. А ведь любил-то, любил-то как!..

Что-то и впрямь не приживаются мужчины в нашем доме. Одна надежда на Ваню. Да, но надежда слабая: парализовало дядю Ваню. Бедный дядя Ваня. И что будет теперь с Музой?.. Но Борис-то, Борис!.. Вот удивил.

А второй раз удивит всех Боря, когда умрет. Вот так – возьмет и умрет, молодой и здоровый, и последнее слово будет «Ксана!..».

Да, тяже-елый глаз у тети Тони...

Посомневавшись, Ксана все же поедет на похороны. Поразить всех красотой и бриллиантами. Выслушать соболезнование женам. И, не удостоив другую взглядом – «несчастье какое-то!» (значит, все же – удостоив? да и выглядеть «несчастьем» на похоронах мужа как-то уместно!), – Ксана сядет в автомобиль и уедет в свою новую вдовью жизнь.

Ксана станет вдовой. Она примерит на себя это слово, как шубку, и... пожалеет ли она Борю? Борю Неверного, Борю Гонимого, Борю Верного? Или хотя бы Борю-мальчика, влюбленного в девочку, спесивицу и гордячку?..

А время идет, растут тополя, вон как вымахали, Сашенька школу окончил, женился. А Музе все хуже, выглядит просто ужасно.

– Кощей Бессмертный тоже плохо выглядит.

– Над этим смеяться нельзя!

А кто смеется?

И Тонечка растет, отрада бабы Тони, – пухленькая, холененькая, наливается персик. Умница, отличница – радость, а не дитя. Но... уже недолго оставалось радоваться бабе Тоне.

Говорят, праведники умирают тихо.

Тетя Тоня будет умирать долго, страшно, явится Та, с косой, – не за шкатулочкой, нет – за тетей Тоней. Ну вот и я. Не ждала?.. И тетя Тоня примет из рук в руки смерть лютую, жестокую, страшную...

Похоронят тетю Тоню.

А тут новая беда: Сашенька-то!.. нет Сашеньки!.. Муза черная. Сашеньки ей не пережить... Клава тоже понесла тяжелую утрату, что ты смеешься?.. И говорят, опять замуж выходит – какой-то Евгений, нет, вру, Евгения она похоронила, а это... а черт его знает, кто это, какая разница.

«Тополя, тополя...» – как там дальше-то было?.. «И как в юности вдруг вы уроните пух – на ресницы и плечи подруг...» Действительно роняют. Но добро бы на ресницы и плечи подруг, чтоб красиво было, – а то в нос и в рот, причем свой собственный, тьфу, гадость.

Ну какие еще новости? А новости плохие: умер дядя Ваня. Как умер? Ну как люди умирают... На Музу просто страшно смотреть: из больниц не выходит. Ксана? А что Ксана...

Ксана попивает винцо, дымит сигареткой, памятник маме надо ставить, мраморный, это очень дорого. Ольга денег не дает, говорит, нет у нее – как вам это нравится? А откуда они у Ксаны? Вдовы? – блеск изумрудов, бриллиантов. Ксана с удовлетворением ловит взгляд – нет, нет, ну что вы, это же память о мамочке!

А без них – забудешь?

Тонечка сидит с книжкой. Белолица, черноброва, нраву кроткого такого... Серые глаза, кудри – как она похожа на Борю... Вот только черты лица уже подернуты родовым высокомерием – все-таки Ксана специалист по селекции, грушу с жабой венчает...

Судьба колебалась: так или этак? На авансцену выходят дядья Бори, соблазнившиеся Канадой: Ксана, отдай нам Тонечку. Мою дочь? Да вы что?!

Никогда. Тонечка?.. Нет, я с мамой!.. – дрожит, дрожит на веточке персик, боится, страшно ему – мама!..

Ах, дядя, украдите Тонечку, вам простится, зачтется!..

Но – как, как?..

Никак. Нельзя. Невозможно: доигрывалась тема судьбы тети Тони...

И Тонечка останется – громко плакать по ночам, бить мамины бутылки – не пей, мама! Мамочка!.. Дети, «мама» – самое дорогое слово на свете! Никто не будет тебя больше любить, чем мама, золотая прямо!.. Тонька, зараза, убью, гадина!.. Мамочка, не надо! Мамочка, я боюсь!.. Мне больно, мамочка!..

...Как же долго меня здесь не было!.. Вот и тополя – выше неба!.. вот и дом – сдал, осунулся, постарел... «Дом, в котором я живу...» – да, да, был такой старый, добрый, замечательный фильм, населенный хорошими, милыми людьми, и концовка была такая хорошая, щемящая, с крепкой гражданской позицией авторов: героиня, правда, погибает, но погибает за Родину, а герой возвращается, смотрит на свой дом (тут идет музычка), а из подъезда выбегает девочка с косичками – все повторяется!.. Жизнь идет!

Стою, смотрю, и вправду – выбегает девочка!.. С синяком под глазом – быстро надевает очки, – ой, здравствуйте, это вы?

Это я.

Не узнаете меня? Я – Тоня.

Тоня? Бог ты мой! Тонечка!.. Это ты? Трудно поверить!.. Как ты выросла!.. Сколько ж тебе лет?

Девятнадцать будет (никогда! никогда!..), учусь в мединституте, врачом буду (не будешь, никогда не будешь!..).

А в окне – о, что это? – тощее, беззубое – с приездом! – улыбается, стра-ашно так улыбается – Ксана? Неужели это ты, Ксана?.. Красавица Ксана, спесивица и гордячка?..

А Мишу помнишь? Сына тети Раи?

Погодите, а что с Ксаной?

А что с Ксаной – спилась. Что значит – не может быть? Представь себе. Пьянки, драки, милиция – господи, знала бы покойная Тоня! В долг у всех просят (ты не давай!), будут говорить, что на хлеб, – не верь: на водку. Какая шкатулочка? А, бриллианты! ну-у!.. Давно все пропили. А что Тоня?.. Два раза в реанимации лежала – изнасиловали, изувечили, в костер бросили, нашли полумертвую, едва спасли. Как кто? Клиенты. Тоня же проституцией занимается, а ты не знала? Ксана находит ей по телефону клиентов (мать!) – на то и живут. Какой мединститут, ты что? По полгода в психушке лежат, а ты – мединститут. Как с неба свалилась. А Мишу помнишь? Сына дяди Толи и тети Раи?

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/mosova_svetlana/v-poiskah-proshlogodnego-snega-sbornik

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)